

А. Ф.  
ПИСЕМСКИЙ

*Избранное*



# Алексей Феофилактович Писемский

## Плотничья артель

«Зиму прошлого года я прожил в деревне, как говорится, в четырех стенах, в старом, мрачном доме, никого почти не видя, ничего не слыша, посреди усиленных кабинетных трудов, имея для своего развлечения одни только трехверстные поездки по непромятой дороге, и потому читатель может судить, с каким нетерпением встретил я весну...»

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0016
III.....	.0029
IV.....	.0044
V.....	.0090
Примечания.....	.0117

**Алексей Феофилактович  
Писемский  
Плотничья артель  
*Рассказ***

Зиму прошлого года я прожил в деревне, как говорится, в четырех стенах, в старом, мрачном доме, никого почти не видя, ничего не слыша, посреди усиленных кабинетных трудов, имея для своего развлечения одни только трехверстные поездки по непромятой дороге, и потому читатель может судить, с каким нетерпением встретил я весну. И – боже мой! Как хороша показалась мне оживающая природа и какую тонкую способность получил я наслаждаться ею, способность, которая – не могу скрыть – была мною утрачена в городской жизни, посреди чиновничьих и другого рода мирских треволнений. Настоящим образом таять начало с апреля, и я уж целый день оставался на воздухе, походя на больного, которому после полугодичного заключения разрешены прогулки, с тою только разницею, что я не боялся ни катара, ни ревматизма, ходил в легком платье, смело промачивал ноги и свободно вдыхал свежий и сыроватый воздух. Протаявший на пригорке луг сделался для меня предметом неистощи-

мого вниманья; по несколько раз в день я наблюдал, как он больше и больше расширяется, свежей и свежей зеленеет; появившиеся на садовых вербах почки я почти пересчитывал, как будто бы в них было все мое богатство. С каким живым чувством удовольствия поехал я, едва пробираясь, верхом по проваливающейся на каждом шагу дороге, посмотреть на свою родовую речку, которую летом курица перейдет, но которая теперь, несясь широким разливом, уносила льдины, руша и ломая все, попадающееся ей навстречу: и сухое дерево, поваленное в ее русло осенним ветром, и накат с моста, и даже вершу, очень бы, кажется, старательно прикрепленную старым поваром, ради заманки в нее неопытных щурят. Целую неделю на небе хоть бы облачко; солнце с каждым днем обнаруживает больше и больше свою теплотворную силу и припекает где-нибудь у стены, точно летом. И сколько птиц появилось и как они ожили, откуда прилетели и все поют: токуют на своих сладострастных ассамблеях тетерева, свищет по временам соловей, кукует однообразно и печально кукушка, чирикают воробьи; там

откликнется иволга, там прокричит коростель... Господи! Сколько силы, сколько страстности и в то же время сколько гармонии в этих звуках оживающего мира! Но вот снегу больше нет: лошадей, коров и овец, к большому их, сколько можно судить по наружности, удовольствию, стоняют в поля – наступает рабочая пора; впрочем, весной работы еще ничего – не так торопят: с Христова дня по Петров пост воскресенья называются гулящими; в полях возятся только мужики; а бабы и девки еще ткут красна, и которые из них помоложе и повеселей да посвободней в жизни, так ходят в соседние деревни или в усадьбы на гульбища; их обыкновенно сопровождают мальчишки в ситцевых рубахах и непременно с крашеным яйцом в руке. Гульбища эти по нашим местам нельзя сказать, чтоб были одушевлены: бабы и девки больше стоят, переглядываются друг с другом и, долго-долго собираясь и передумывая, станут, наконец, в хоровод и запоют бессмертную: «Как по морю, как по морю»; причем одна из девок, надев на голову фуражку, представит парня, убившего лебедя, а другая – красну де-

вицу, которая подбирает перья убитого лебедя дружку на подушечку или, разделясь на два города, ходят друг к другу навстречу и поют – одни: «А мы просо сеяли, сеяли», а другие: «А мы просо вытопчем, вытопчем». Самой живой сценой бывает, когда какой-нибудь мальчишка покатится вдруг колесом и врежется в самый хоровод, причем какая-нибудь баба, посердитее на лицо, не упустит случая, проговоря: «Я те, пес-баловник этакой!», толкнуть его ногой в бок, а тот повалится на землю и начнет дрегать ногами: девки смеются... Иногда привяжется к хороводу только что воротившийся с базара пьяный мужичонко и туда же лезет целоваться с девками, которые покрасивее; но такого срамного кто уж поцелует? И он начнет выкидывать другие штуки: возьмет, например, две палки, из которых одну представит будто смычок, а из другой скрипку, и начнет наигрывать языком «Барыню»[1] или нагонит какого-нибудь мальчишку, стащит с него сапог силой, возьмет этот сапог, как балалайку, и, тоже наигрывая языком, пустится плясать и, подняв на улице своими лаптями страшную



пыль, провалится, наконец, куда-нибудь; хоровадницы после этого еще постоят, помолчат, пропоют иногда: «Калинушка с малинушкой лазоревый цвет»; мальчишки еще подерутся между собой и затем начнут расходиться по домам... Вот вам и игрище все!

Между тем время идет: яровое допахивают. Вечер ясный, теплый. Я сижу на задней галерее дома, обращенной во двор. В зале шумят двое маленьких сыновей: старшему, Павлу[2], четвертый, а младшему, Николаю[3], второй год. Они всеми силами стараются перекричать друг друга, вскрикивая: «Пли, пли, пли!» Это они играют в солдаты и воюют с турками; вдруг один заревел. «Поля! Ты опять брата дразнишь?» – кричу я, наперед зная, что старший, буян, обидел младшего, и хочу идти; но слышу, пришла мать: она лучше восстановит мир. Поля пренаивно объявил, что он братца пикой заколол; ему объясняют, что братца стыдно колоть пикой, потому что братец маленький, и в наказание уводят в гостиную, говоря, что его не пустят гулять больше на улицу и что он должен сидеть и смотреть книжку с картинками; а Колю между тем,

успокоив леденцом, выносят ко мне на галерею. Он так огорчен, что все еще продолжает всхлипывать; большие голубые глазенки полны слез.

– Что, Коля, тебя обидели? – говорю я, беря его за подбородок.

Он несколько времени смотрит на меня, потом прижимает головку к плечу няньки и, как бы вспомнив тяжко нанесенную ему обиду, горько-горько опять заплачет.

– Полно, батюшка, полно! Вон, посмотри, какая идет кошка, а, а, а, кошка!.. Кис, кис, кис!.. – говорит ему в утешенье нянька, показывая на перебирающуюся по забору кошку.

Ребенок занялся.

– Кис, кис, кис! – шепчет он тихонько.

– Да, батюшка, кис, кис, кис, – повторяет за ним нянька, и оба, очень довольные друг другом, отправляются в залу баюкаться. «Бай, бай, бай!» – начинает напевать старуха. «О, о, о!» – окается ребенок, а я все еще продолжаю сидеть: не хочется в комнаты, отрадно на воздухе, хоть и становится свежо. Однако дедушка Фаддей прошел уж за квасом – значит, девятый час в исходе. Дедушка Фаддей только

три раза в день (перед завтраком, обедом и ужином) слезает с печи и ходит за квасом, и – не беспокойтесь, никогда не опоздает; всегда первый нацедит из общественной квасницы в свой бурак; не любит жидкого квасу; ну, а дворня не маленькая, как раз сольют и набурят водой. Чалый мерин, которому дозволено гулять в саду по дряхлости лет и за заслуги, оказанные еще в юности, по случаю секретных поездок верхом верст за шесть, за пять, в самую глухую полночь и во всевозможную погоду, – чалка этот вдруг заржал; это значит, слышит лошадей – такой уж конь табунный, жив-сгорел по своему брате; значит, это с поля едут. Сначала показываются боронцики-мальчишки, верхами на лошадях; Васька, сын кучера, обыкновенно впереди всех и что есть духу мчится, но, завидев меня, поехал шагом. Этакого сорванца-мальчишки и вообразить трудно: его пошлют, например, за грибами, а он поймает в поле чью-нибудь чужую лошадь, взнуздает ее веревкой, да верст в десять конец и даст взад и вперед.

«Однако что ж это оральцики не шабашат?» – думаю я сам с собою. Но и оральцики

отшабашили, едут! Это можно догадаться по крику задельного мужика, Петра Завирохи; не зная, можно подумать, что он с кем-нибудь бранится, а вовсе нет: он только говорит, и беспрестанно говорит, и все криком кричит; поэтому его Завирохой и прозвали. От оральщиков отделился староста, худощавый и с озабоченным лицом мужик, отличающийся от прочих только тем, что в сапогах и с палочкой, но, как и все другие, сильно загорелый и перепачканный в грязи; он входит на красный двор, снимает шапку и подходит к перилам галереи.

– Здравствуй, Семен, надевай шапку. Что скажешь хорошего? – говорю я.

– Овес выкидали, – отвечает Семен неторопливо.

– Ну, и слава богу! Вовремя, значит, управляемся; теперь, стало быть, ячмень и лен только остался, – продолжаю я.

– Лен и ячмень остался теперь, – подтверждает Семен.

Несколько времени мы оба молчим.

– Теперь бы дождичка надо, – замечаю я. Семен вздыхает.

– Не мешало бы и дождичка, – соглашается он.

Вообще он говорит как-то лениво: видно, устал да и... Я, впрочем, понимаю, что это значит.

– Эй! Кто там? – кричу я. – Скажите ключнице, чтоб дала старосте водки.

Лицо Семена в минуту освещается удовольствием; ключница выносит стакан водки и вместе с тем полломтя густо посоленного хлеба. Она, по разным сношениям, большая приятельница Семену и всех почти детей у него крестила.

Семен берет стакан, крестится и, проговоря:

– С засевом, батюшка, поздравляю! – выпивает сразу и потом морщится.

– Закусите, – говорит ключница, подавая ему хлеба.

Семен отламывает небольшой кусочек, съедает и откашливается.

– Озими, сударь, нынче, слава богу, хороши подымаются, – заговаривает уж он сам.

– Хороши, братец, хороши, видел я; и травы, кажется, тоже будут порядочные.

– Травы важные засели-с, – подтверждает Семен, – весна-то нынче, сударь, что бог даст вперед, вольготна для всего идет; оно, выходит, тепло, да и дождички перепедают.

– Заморозков чтоб не было – это вот скверно для всего, – замечаю я.

Семен усмехается.

– Пожалуй, что того и жди, – подтверждает он. – Покойный ваш папенька тоже говаривал, как этак с весны теплая погода начнет: «Ну, говорит, будет вычет; как подует от Николы любезный, так и ходи недели две в шубах».

(Никола – приход, от нас в северной стороне.)

– Неужели каждый год это бывает?

– Почесть что каждый год, что вот я ни живу; бог знает, отчего это! Кто говорит, что пахать начнут, пласт поднимут, так земля из себя холод даст, а кто и на черемуху приходит: что как черемуха цветет, так от нее сиверко делается... Бог знает, как и сказать.

– А куда завтра народ пошлешь? – спрашиваю я его.

– Завтра на дороги надо выгнать: выбива-

ют. Сотской два раза прибегал, исправник его хлестать хочет, что дороги долго не чинят.

– Ну, на дороги, так на дороги, откладывать нечего в дальний ящик, не отвертишься!

– Известно-с, – соглашается Семен, – за нами хоть бы и без вас, – прибавляет он, – хошь кого извольте спросить, никогда супротив прочих ни в чем остановки нет; как другие вышли, так и мы.

– Это хорошо; так и надо. Ступай, однако, отдыхай, – заключаю я.

Семен сначала пошел было, но потом приостановился, подумал немного и опять воротился ко мне.

– Насчет плотника вы приказывали... – проговорил он.

– Ну да; что ж?

– Наказывал я: на этой неделе обещался побывать.

– И хорошо; только сделает ли он ригу-то?

– Как бы, кажись, не сделать: по мужикам здесь на всем околотке работает; рига не какая хитрость, не барские хоромы.

Тем разговор мой с Семеном и кончился.

Дня через три я сижу в кабинете, который, как водится в помещичьих домах, прилегает к лакейской; слышу: кто-то вошел. Я окрикнул; вместо ответа в сопровождении Семена вошел мужик небольшого роста, с татарским отчасти окладом лица: глаза угловатые, лицо корявое, на бороде несколько волосков, но мужик хоть и из простых, а, должно быть, франтоват: голова расчесанная, намасленная, в сурьмленной поддевке нараспашку, в пестрядинной рубашке, с шелковым поясом, на котором висел медный гребень, в новых сапогах и с поярковой шляпой в руках. Как вошел, так и начал молиться, и молился долго, потом вдруг подошел ко мне, и не успел я опомниться, как он схватил и поцеловал у меня руку. Мне это с первого раза не понравилось.

– Что это за глупости? – сказал я с сердцем, отнимая руку.

Он отступил несколько шагов назад.

– Это, ваше высокоблагородие, так следует: когда выходит господин, значит,



опосля бога и царя первый, ваше высокопривосходительство, – проговорил он с умиленной физиономией.

– Да кто ты такой? Что ты за человек?

– Пузич, ваше привосходительство.

– Что такое Пузич?

– Фамилья такая у меня, значит, ваше привосходительство, и таперича наслышан я, что работа у вас имеется, ваше привосходительство, что ежесть таперича вам мастера хорошего надобно, чтоб в настоящем виде мог представить, ваше привосходительство...

– Плотник это-с, что этта говорили, – разрешил, наконец, Семен.

– А! Плотник! Я и не догадался. Красно уж очень говоришь ты, братец, – сказал я.

Похвалу эту Пузич принял за чистую монету.

– Нельзя, ваше высокопривосходительство, нам разговору не знать: ежесть таперича дела имеем мы с господами хорошими, значит, компанию им должны сделать завсегда, ваше привосходительство.

– Конечно, – сказал я, – только так ли ты хорошо строишь, как говоришь?

– Работа моя, ваше привосходительство, извольте хоть вашего Семена Яковлича спросить, здесь на знати; я не то, что плут какой-нибудь али мошенник; я одного этого бесчестья совестью не подниму взять на себя, а как перед богом, так и перед вами, должен сказать: колесо мое большое, ваше привосходительство, должен благодарить владычицу нашу, сенновскую божью мать[4], тем, что могу угодить господам. Таперича хоша бы карандашом рисовка на плане, али, примерно, циркулем, али теперь по ватерпасу прикинуть – все в разуме моем иметь могу, ваше привосходительство.

Семен усмехался и качал головой.

– Как же, братец, ты вот все это в разуме имеешь, а работаешь больше по мужикам? – заметил я.

– Нет, ваше привосходительство, как перед богом, так и перед вами, говорю: за бесчестье себе считаю у мужика работать. Что мужик? Дурак, так сказать, больше ничего! – возразил Пузич.

– Да ведь и ты не княжеского рода. Говори дело-то, а не то что... – вмешался Семен.

– Известно, слово твое настоящее, Семен Яковлич, коли говорить, так говорить надо дело, – отвечал, не сконфузясь, Пузич.

Он начал производить на меня окончательно неприятное впечатление, но вместе с тем я с удовольствием смотрел на несколько ленивую и флегматическую фигуру моего Семена, который слушал все это с тем худо скрытым невниманьем и презреньем, с каким обыкновенно слушает, хороший мужик плутоватую болтовню своего брата.

– Брать ли нам его? – спросил я Семена.

Он посмотрел в потолок.

– Возьмите. Здесь ишь какая сторонка – глушь: хоть бы и из их брата, первой, другой, да, пожалуй, и обчелся.

– Без сумления будьте, ваше привосходительство, сделайте такую милость! – подхватил Пузич.

– Что ж ты возьмешь? Как твоя цена будет? – спросил я.

– Цена моя, ваше привосходительство, – начал Пузич, – будет деревенская, не то, что с запросом каким-нибудь али там прочее другое, а как перед богом, так и перед вами, для

первого знакомства, удовольствие, значит, хочу сделать: на ваших харчах, выходит, двести рублей серебром.

При этом Семен мой даже попятился назад.

– Что ты, паря, сблаговал, что ли? – сказал он, устремив глаза на Пузича.

– Меньше одной копейки, Семен Яковлич, взять не могу, – отвечал тот.

Я с своей стороны понял, что имею дело с одним из тех мелких плутишек, которые запрашивают рубль на рубль барыша, и хотел разом с ним разделаться.

– Твоя цена двести рублей, а моя – сто, – сказал я, думая, что снес, сколько возможно, много. По лицу Пузича быстро промелькнул какой-то оттенок удовольствия, а Семена опять подернуло.

– Сто – много, помилуйте! Семидесяти рублей с него за глаза будет, – произнес он с укоризною.

Пузич усмехнулся.

– Не то что об семидесяти, а и об ста рублях, Семен Яковлич, разговаривать нечего. Этой цены малой ребенок не возьмет! – ска-

зал он с такой уж физиономией, как будто скорей готов был умереть, чем работать за сто рублей.

– Полно врать, Пузич! Полно! Что язык понапрасну треплешь! – возразил Семен, начавший выходить из терпенья.

– Може, вы сами язык понапрасну треплете, Семен Яковлич. Здесь идет разговор с господином, а не с мужиком: значит, понимаем, с кем и пред кем говорим, – возразил Пузич.

– Сто рублей, больше не дам: согласен – хорошо, а нет – так можешь убираться, – сказал я и нарочно стал заниматься своим делом.

Пузич не уходил.

– Позвольте, ваше привосходительство, – начал он, прикладывая руку к сердцу, – так как таперича я очень желаю, чтоб знакомство промеж нас было; значит, полтора ста серебром вы извольте положить, и то в убыток – верьте богу.

– Больше ста не дам, убирайся! – решил я.

– Ваше высокородие, позвольте! – продолжал Пузич, еще крепче прижимая руку к сердцу, – кому таперича свое тело не мило, а лопни, значит, мои глаза, ваше привосходи-

тельство, ежели кто хоть копейку против меня уваженья сделает.

– Ломается еще туда же, дура-голова! – проговорил Семен.

– Ломаться мы не ломаемся, Семен Яковлич, уж это вы сделайте такое ваше одолжение, а, значит, дело, выходит, неподходящее.

– Неподходящее? – повторил Семен сердито. – Мало тебе, жиду, ста рублей! Двадцать пять серебром и то лишних передано.

Пузич как будто бы не слышал этого замечания и обратился ко мне:

– Накиньте, ваше высокопривосходительство, хоть четвертную еще; ей-богу, безобидно будет.

Я молчал.

– Это что говорить, – продолжал Пузич, – сработать можно всяко; только я худого слова, значит, заслужить не хочу, а желаю так, чтоб меня и напередки знали... Может, ваше привосходительство, изволите знать по Буйскому уезду генерала Семенова: господин, осмелюсь так, по своей глупости, сказать, строжающий, в настоящем виде, значит... когда у него эта стройка дома была, пятеро под-

рядчиков, с позволенья доложить вашему привосходительству, бегом сбежали от него; и таперича, когда он стал требовать меня: «Что ж, думаю, буди воля царя небесного! А я готов завсегда служить господам», ваше привосходительство. И как перед богом, так и перед вами потаить не могу, первые две недели все мои ребра палкой пересчитаны были; раз пять, может статья, кровянил меня; но я, по своему чувству, ваше привосходительство, не то что брал в обиду, а еще в удовольствие – значит, нас, дураков, уму-разуму учат; когда таперича мужик над тобой куражится и ломается, а от барина всегда снести могу.

«Экая подлая натурашка!» – подумал я и молчал.

– Таперича при разделке, когда дело это было, – продолжал опять Пузич, – генерал сейчас сделал мне отличнейшее угощенье и выкинул пятьдесят рублей серебром лишних. «На, говорит, тебе, Пузич, за то, что нраву моему, значит, угодил». И эти деньги мне, ваше высокопривосходительство, дороже капитала миллионного: значит, могу служить господам.

Я все молчал. Выждав немного, Пузич снова заговорил:

– А насчет вашей работы, я так полагаю, что мое особенное старание быть должно. Таперича, когда моя работа у вас пойдет, вы извольте лечь на ваш диванчик и поживать – больше того ничего сказать не могу.

Я взглянул на Семена: в лице его изображались досада и презрение.

– Не дам больше ста, – сказал я решительно.

Пузич перенял свою шляпу из одной руки в другую.

– Этой цены, ваше высокородие, никому взять несообразно, – проговорил он и потом, постояв довольно долго, присовокупил, вздохнув: – Прощенья, значит, просим, – и стал молиться, и молился опять долго. – Только то выходит, что за пятнадцать верст сапоги понапрасну топтал, – пробурчал он.

– Эка, паря, что ты сапоги потоптал, так и дать тебе тысячу! – возразил Семен.

Пузич, ничего на это не возразив, повторил еще раз:

– Прощенья просим, ваше высокородие, – и



пошел; Семен за ним; но я видел, что Пузич не уйдет и воротится, потому что шел он очень медленно по красному двору и все что-то толковал Семену. Через несколько минут они действительно опять воротились.

– Сто берет, – сказал Семен.

– Хоша три рублика серебром, ваше высококородие, набавьте: по крайности я на артель ведро вина куплю, – присовокупил Пузич с подло просительным выражением в лице.

– На артель, братец, я сам куплю ведро вина, а тебе копейки не прибавлю, – возразил я.

Пузич грустно покачал головой.

– Как нынче и на свете стало жить – не знаем, – начал он, – господа, выходит, пошли скупые, работы дешевые... Задаточку уж, ваше высококородие, извольте мне пожаловать, – прибавил он еще более просящим голосом.

– Сколько ж тебе?

– Двадцать пять рубликов серебром, – отвечал Пузич совершенно уж неестественным тоном.

Видимо, что он принадлежал к разряду тех людей, которые о деньгах покойно и без нервного раздражения не могут даже говорить. Я

подал ему двадцать пять рублей; Семену это не понравилось.

– Что в задаток-то хватаешь? Не убежим от твоих денег! – сказал он Пузичу.

– Ах, Семен Яковлич, бог с тобой! Выходит, словно ты наших делов не знаешь, – проговорил тот, засовывая дрожащею рукою бумажку в кожаную кису, висевшую у него на шее.

– Ты сам, паря, свои дела лучше нашего знаешь, – отвечал Семен. – Теперь вот ты у нас работу берешь, а я тебе при барине говорю, чтоб опосля чего не вышло: ты там как знаешь, а чтоб на нашей работе Петруха был беспременно.

Пузич насмешливо улыбнулся.

– Петруха? – повторил он с усмешкою и обратился ко мне. – Когда я, ваше привосходительство, сам на работе, что же значит Петруха? Какое он звание может иметь, когда сам подрядчик тут, извините вы меня, Семен Яковлич, – отнесся он к Семену.

– Из наших ведь, брат, мужицких извинений не шубу шить, это что! – возразил в свою очередь Семен. – Не на одной нашей работе, а и на всякой Петруху от тебя требуют – знаем

тоже.

Пузич еще насмешливее покачал головою.

– Ежели теперича, чтоб барину сделать удовольствие, Семен Яковлич, мы о Петрухе не постоим, за Петруху нам стоять много нечего: артель моя большая.

– Артель твою, Пузич, и мы тоже знаем; я опять при барине говорю: кроме Петрухи, другой прочий може у тебя только с нынешнего Николы топор в руки взял, так уж с того спросить много нечего.

– А Петруха-то кто ж такой? – спросил я Семена.

– Уставщик; по всей артели парень надежный, – отвечал он.

– Кто про это говорит! Мастер отличнейший, в лучшем виде значит. Ежели теперича, ваше привосходительство, с позволения так сказать, по нашим делам он человек, значит, больной, а мы держим его без пролежек; ваше привосходительство, жалование, значит, кладем ему сполна, – проговорил Пузич, но таким голосом, по тону которого ясно было видно, что похвала Петрухе была ему нож острый, и он ее поддерживал только по своим

торговым расчетам.

При прощанье Пузич стал просить у меня полтинничка в придачу ему на чай. В полтиннике мне уж совестно было отказать – я ему дал, но Семен и против этого протестовал:

– Ну, паря, славная ты выжима! – проговорил он Пузичу, на что тот отвечал только вздохом.

Сделать ригу я задумал не столько по необходимости, сколько для развлечения. Помещики, обреченные на постоянную жизнь в деревне, очень хорошо знают, что стройка в деревне – благодать, самое живое развлечение; точно должность получил, приличную своим способностям: каждое утро сходишь посмотреть, потолкуешь; после обеда опять идешь посмотреть; вечером тоже.

Все это делал, конечно, и я.

Пузич пришел ко мне работать сам четверт: с молодым парнем, Матюшкой, толсто-рожим и глуповатым на лицо, с Сергеичем, стариком очень благообразным, который обратил особенно мое внимание на себя тем, что рубил какими-то маленькими и очень красивыми щепочками и говорил самым мягким тенором, и все всклад. Уставщик Петруха был мужик высокого роста, сухой, с строгим выражением в глазах и с ироническим складом в губах. Он говорил мало, но резко и насмешливо. Сам Пузич оказался на работе совершенная дрянь: он суетился, кричал, бра-

нил, впрочем, одного только Матюшку, который принимал его брань с простодушной и глупой улыбкой.

– Всегда тебя так бранит подрядчик? – спросил я его.

– Завселды... дядюшка ведь он мне, завселды все лается, – отвечал он мне и засмеялся.

Над Сергеичем Пузич только важничал, но перед Петрухой – другое дело: тот его, видимо, уничтожал своею личностью и чувствовал, кажется, особое наслаждение топтать его в грязь по всем распоряжениям в работе. Достаточно было Пузичу выбрать какое-нибудь бревно и положить его на углы, для пригонки, как Петр подходил, осматривал и распоряжался, чтоб бревно это сбросили, а тащили другое.

– Что? Аль неладно? – спрашивал при этом Пузич каким-то робким голосом; но Петр даже не удостоивал его ответом, молча размечал, и Пузич смиренно усаживался и начинал рубить по отметкам работника.

На другой или на третий день, как стали они у меня работать, я подошел и сел на бревне около Сергеича, на долю которого выпало

тесать пол, и, следовательно, он работал вдвое от прочих.

– Что, дедушка, стар бы ты по чужой стороне ходить, – заговорил я.

– Что делать-то, батюшка, – отвечал старик мягким голосом, – нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет – да! Хоть бы и мое дело, не молодой бы молодик, а на седьмой десяток валит... Пора бы не бревна катать, а лыко драть да на печке лежать – да!

– Отчего это ты все вот всклад говоришь? – заметил я ему.

Сергеич усмехнулся.

– Измолоду, государь мой милостивый, – отвечал он, – такая уж моя речь; где и язык-то набил на то – не помню; с хороводов да песен, видно, дело пошло; ну и тоже, грешным делом, дружничал по свадебкам.

– Дружкой ты был? – сказал я.

Старик самодовольно улыбнулся.

– Я был, може, из дружек дружка, а не то что просто дружка; меня ажно из Ярославля богатые мужички ссыгали дружничать у них на сыновних свадебках, по сту рублей мне за то платили; я был дорогой дружка – да! Ты

вот, государь милостивый, в замечанье взял, что я речь всклад говорю; а кабы ты посмотрел еще меня на свадебном деле, так что твой колоколец под дугой али гусли многострунные!

– Как же у вас начинаются, например, эти сговоры? С чего? – спросил я.

– Сговоры, государь мой милостивый, – отвечал Сергеич, кажется, очень довольный моим вопросом, – начинаются, ежели дружка делом правит по порядку, как он сейчас в избу вошел, так с поклоном и говорит: «У вас, хозяин, есть товар, а у нас есть купец; товар ваш покажите, а купца нашего посмотрите...» Тут сейчас с ихниной, с невестиной стороны, свашка, по-нашему, немытая рубашка, и выводит девку из-за занавески, ставит супротив жениха; они, вестимо, тупятся, а им говорят, чтоб смотрелись да гляделись – да! Теперича невеста, значит, понравилась. Женихов дружка сейчас по имени чествует хозяина в дому... Иван Иваныч, что ли: «Товар ваш, Иван Иваныч, показался, ум-разум расступился, пожалуйте шубу на стол, станем богу молиться и по рукам биться» – да! Девку опять за занавес-



ку уводят: горе горевать, свой девичий век обывать, а батюшка с маткой сядут за стол дочку пропивать, и пьянство тут, государь мой милостивый, у нас, дураков-мужиков, бывает шибкое; все, значит, от жениха идет; только, сердечный, повертывайся, не жалея денежек, приезжай, значит, припасенный.

– А дары когда ж дарятся между женихом и невестой? – перебил я.

– Дары тут же дарятся, – продолжал Сергеевич, – как теперича, по молитве это рукобитье совершится, старички, выходит, по другому, по третьему стаканчику выпили, дружка сейчас и ведет жениха за занавеску, поначалу молитву читает: «Господи, помилуй нас» – да! Тут женишок и спрашивает: «Красна девица, дайте знать, как вас звать?» Она – хоша Катерина Степановна; значит – «Катерина Степановна, извольте наши дары принять, да не прогневаться, примите мало, а сочтите за много». Невеста дары приемлет; тут они и целуются, впервые, значит, а другие, може, и больно не впервые, губы-то, може, до мозолей уж трепаны, особливо по нашей гулящей стороне... Теперича и невеста в оборот жениху

говорит: «Господи, помилуй нас. Добрый молодец, как вас звать?» Примерно, Николай Иваныч; выходит – «Николай Иваныч, извольте от меня дары принять, да не прогневаться, примите мало, а сочтите за много!» Отдаривается, значит – да!

– А как же невеста обвывает свой девичий век? – спросил я.

– Хорошо, сударь, обвывает, – отвечал Сергеич с каким-то умилением, – причитывает все к отцу, матери с такими речами: «Не лес к сырой земле клонится, добрые люди богу молятся. Стречай-ка ты, родимый батюшка, своих дорогих гостей, моих разлучников; сажай-ка за стол под окошечко свата-сватьяшку, дружку-засыльничка ко светцу, ко присветничку; не сдавайся, родимый батюшка, на слова их на ласковые, на поклоны низкие, на стакан пива пьяного, на чару зелена вина; не отдавай меня, родимый батюшка, из теплых рук в холодные, ко чужому к отцу, к матери» – да! Приговоры хорошие идут. У нас ведь лучше, обряднее, чем у вас, у барь. Я вот тоже с улицы в окошко на господские свадьбы гляживал – что?.. Ничего нет потешного;

схватятся только за руки да ходят, а ничего разговоров нет.

– Это на сговорах; а на свадьбах, я думаю, еще больше приговоров бывает, – продолжал я спрашивать, видя, что Сергеич был в душе мастер по свадебному делу, и я убежден, что он некоторые приговоры сам был способен сочинять. Вопрос мой окончательно расшевелил старика; он откашлялся, обдернул бороду и стал уж называть меня, вместо «государь мой милостивый», «друг сердечный».

– В самую свадьбу, друг сердечный, – начал он, – приговоры, большие ведутся. Теперича взять так примерно: женихов поезд въезжает в селенье; дружка сейчас, коли он ловкий, соскочит с саней и бежит к невестиной избе под окошко с таким приговором: «Стоят наши добрые кони во чистом поле, при пути, при дороженьке, под синими небесами, под чистыми под звездами, под черными облаками; нет ли у вас на дворе, сват и сватьюшка, мещечка про наших коней?» Из избы им откликаются: «Милости просим; про ваших коней есть у нас много местов». Теперича по его команде поезд въезжает на двор, а он, государь

мой милостивый, все впереди, никому вперед себя идти не дает. По сеням идет, молитву творит и себе приговор говорит: «Идет друженька лесенкой кленовою, мостиком калиновым, берется друженька за скобочку полузоную. Растворите, во имя отца и сына и святого духа, дверечки широкие: сам я, сватушка, двери на петле поведу, а без аминя не войду!» Тем, друг сердечный, что в свадебном деле ничего без молитвы начинать нельзя, весь поезд, значит, аминя и ждет – да! Как теперича им аминь из избы оголосили, дружка опять впереди всех. Первый его приговор, как в избу вошел: «Скок чрез порог, на силу ножки переволок!» Значит, чтоб с шутки начать, да и дело кончать – да! Второй приговор его: «Все люди смотрящие, все люди глядящие! Покажите мне хозяина настоящего в дому». Третий его приговор: «Сватьяшка любезный, кто у вас в доме начал?» – «Начал у нас в доме спас, пресвятая богородица!» – отвечают ему. Четвертый приговор дружки значит: «Богу помолимся, на все четыре стороны поклонимся, сватьяшка любезный, в некоторые годы, в некоторые времена ходили промеж нас ста-

рушонки, дела наши свашили, были промеж нас и стоворы! Теперича, значит, дело наше сужено, ряжено: к молодому нашему князю пожалуйста молодую княгиню, к большому барину большого барина, к меньшому барину меньшого, к тысяцкому тысяцкого, а ко мне, дураку-дружке, такого же дурака-дружку». Теперича сейчас невесту и выводит из-за занавески брат родной али там крестный. Дружка опять было первый идет, брату пива подносит, только на тот раз ему говорят – да: «Пришлите себя помоложе, подороже и повежливее!» Значит, надо жениха посылать. Идет тот сначала с пустым пивом, без денег, значит, брат ему и говорит: «Кушайте сами; наша сестричка не дешевая: не по бору ходила, не шишки брала, а золотом шила; у нашей сестрички по тысяче косички, по рублю волосок» – значит, выкуп надобно делать, денег в пиво класть.

– А дружка что тут делает? – спросил я.

– Дружка промеж тем свое справляет, – отвечал Сергеич. – Тоже, грешным делом, бывало, попересохнет в горле-то, так нарочно и закашляешься: и кашляешь и кашляешь, а тут

такой приговор и ведешь: «Сватьяшки любезные, что-то в горле попершило, позакашлялось: нет ли у вас водицы испить, а коли воды нет, мы пьем и пивцо, а пивца нет, выпьем и винца!» Ну, и на другой хорошей свадьбе, где вином-то просто, тут же стакана три в тебя вольют; так и считай теперь: сколько в целый день-то попадет. С другой, бывало, богатенькой свадебки, после друженья, приедешь домой, так целую неделю в баню ходишь – свадебную дурь паром выгонять. Хорошо дружке бывает, нечего сказать, больно хорошо.

– Хорошо-то, хорошо, да ведь и это дело не всякий справит: надобно тоже разум иметь, – заметил я.

– Еще какой разум-то, друг сердечный! Разум большой надо иметь, – отвечал Сергеич. – Вот тоже нынешние дружки, посмотришь, званье только носят... Хоть бы теперь приговор вести надо так, чтоб кажинное слово всяк в толк взял, а не то что на ветер языком проболтать. За пояс бы, кажись, в экие годы свои всех их заткнул, – заключил он и начал тесать.

– А уж нынче разве ты не дружничаешь? – спросил я.

– Нет, государь мой милостивый, давно уж отстал; что-что с рожит-то цветен да румян, а глаза больно плохи. Вот и рубишь теперь все больше по памяти; кажинный год раза три со-слепа-то обрубисься, а уж где дружничать: тут надо глаза быстрые, ноги пряткие!

– Ты семейный али одинокий?

– Какое, друг сердечный, одинокий! – возразил Сергеич: – Родом-то, видно, из кустовой ржи. Было в избе всякого колосья – и мужиков и девья: пятерых дочек одних возвел, да чужой человек пенья копать увел, в замужества, значит, роздал – да! Двух было сыновьев возрастил, да и тем что-то мало себе угодил. За грехи наши, видно, бог нас наказывает. Иов праведный был, да и на того бог посылал испытанье; а нам, окаянным, еще мало, что по ребрам попало – да!

– А сыновья где ж у тебя?

– Сыновья, друг сердечный, старший, волей божьею на Низу холеркой помер, а другого больно уж любил да ласкал, в чужи люди не пускал, думал, в старые наши годы будут

от него подмоги, а выходит, видно, так, что человек на батькиных с маткой пирогах хуже растет, чем на чужих кулаках – да!

– Где ж он? Спился, что ли?

– Я уж и сказать тебе не знаю как, в кою сторону он дурак; недолго бы, кажись, пил, да много в кабак отвалил. Добросовестным он, государь мой милостивый, при конторе нашей был, и послали его, где греху-то быть, с мирскими деньгами в город; уехать-то уехал в поддевке, а оттель привели на веревке – да! Все денежки, двести с хвостиком, и ухнул там; добрые люди, спасибо, подсобили – да! Он-то благовал, а батька в ответ попал: мирские рублики, батюшка, не простят. На сходке такое положенье сделали, что али бы я деньги за него клал, али бы его, разбойника, на поселенье сдал – да! Не стерпел я этого: детки-то к нам сердцами не падки, а они нам – худы ли, добры – все сладки. Делать неча, пошел к Пузичу, стал ему в ноги кланяться...

– А разве Пузич у вас деньги в рост отдает?

– Нешто, нешто, сударь одолжает кой-кого на знати, – отвечал старик, вздохнув, – исстаря еще у них в дому это заведенье идет: деды



его еще этим промышляли.

– Помилуй! Сам Пузич дурак какой-то, болтушка! – заметил я.

Сергеич усмехнулся.

– Да, то-то вот, что-что разумом мелок, да как сердцем-то крепок, так и богаче нас с тобой, государь милостивый, живет. Гривной одолжит, а рубль сорвать норовит; мало бога знает, неча похвалить, татарский род проклятый, что-что крещеные! Хоша бы и мое дело: тем временем слова не сказал и дал, только в конторе заявил, а теперь и держит словно в кабале; стар не стар, а все в эту пору рубль серебра стою, а он на круг два с полтиной кладет.

– Ну, а прочие как же живут у него? – спросил я.

– А что, государь мой милостивый, прямо тебе скажу; вся артель у нас на одном порядке, – отвечал старик тихо. – Все в кабале у него состоим. Вон хоть бы этот Матюшка, дурашный, дурашный парень, а все бы в неделю не рублем ассигнациями надо ценить.

– Неужели же он рубль ассигнациями только кладет ему в неделю? – воскликнул я.

– Али больше! – отвечал Сергеич. – Он тоже пригульный: девка по лесу шла да его нашла, бобылка согрешила – землицы, значит, и не было у них, хлебцем-то и бились... Ну, Пузич и делал им это одолжение: давал на пропитание, а теперь и рассчитывает как надо: парень круглый год калачика не уболит съись; лапоток новых не на что купить, а все денег нет – да! Каковы наши богатые-то мужички, а наш-то уж, пожалуй, изо всех хват, черту брат.

– Ну, а этот Петр, уставщик, верно, на особом у Пузича положении нанят, по настоящей ряде?

– А какое, сударь, по настоящей ряде! Тоже в кабале, еще больше нашего. Триста рублей ему должным состоял, от родителя тоже поотделился, а тут, где бы разживаться, в болость впал, словно бы года два хворал, а уж это до кого ни доведись: хозяин лежит, нужду в доме творит.

– Отчего ж Пузич трусит его, кажется?

– Ну да, батюшка, по работе-то нужный ему человек: что бы он без него? Как без рук, сам видишь! А еще и то... после болести, что

ли, с ним это сделалось, сердцем-то Петруха неугож, гневен, значит. Теперича, что маленько Пузич делает не по нем, он сейчас ему и влепит: «Ты, баэт, меня в грех не вводи; у меня твоей голове давно место в лесу приискано».

– Неужели же он это вправду говорит? – спросил я.

Сергеич засмеялся.

– Нету, сударь, какое, кажись, вправду! – отвечал он. – Мужик богобоязливый, сделает ли экое дело! Сердце только срывает, стращает. Ну, а Пузич тоже плутоват-плутоват, а ведь заячьего разуму человек: на ружье глядит, а от воробья бежит, и боится этого самого, не прекословствует ему много.

Петр стал меня очень интересовать, и я хотел было о нем поподробнее расспросить Сергеича, но в это время подошел Пузич и начал нести какую-то чушь о работе, и я, чтоб отделаться от него, ушел в комнаты.

## IV

Когда срубы были срублены, Пузич, к большому моему удовольствию, отправился на другую какую-то работу. В тот же день Семен подошел ко мне.

– Винца-то ребятам обещали; прикажите хоть штофчик им выставить – и будет с них! – проговорил он.

– Хорошо, – сказал я, – что ж ты мне давно не напомнишь? Я было и забыл.

– Пережидал, чтоб собака эта куда-нибудь убежала, а то ведь рыло свое тут же стал бы мочить, – отвечал Семен, подразумевая, конечно, под собакой Пузича.

– Когда ж им дать? – спросил я.

– Да вот хоть ужо вечером, как отшабашат.

– Хорошо... Зайди ты перед тем в горницу за вином, и я выйду к ним, – сказал я.

– Слушаю-с, – отвечал Семен и неторопливо пошел к своему делу.

Вечером я действительно в сопровождении Семена, вооруженного штофом и несколькими ломтями хлеба, вышел к плотникам. Они, вероятно, уж предуведомленные,

сидели на бревнах. При моем приходе Сергеич и Матюшка привстали было и сняли шапки.

– Сидите, братцы; винца я вам принес, выпейте, – сказал я, садясь около них тоже на бревно.

Петр, сидевший потупившись, откашлялся.

– Благодарствуй, государь наш милостивый, благодарствуй, – проговорил Сергеич.

Матюшка глупо улыбнулся. Я велел подать первому Петру. Он выпил, откашлялся опять и проговорил:

– Вот кабы этим лекарством почаще во рту полоскать, словно здоровее был бы.

– Будто? – спросил я.

– Право, славно бы так; мужику вино, что мельнице деготь: смазал и ходчей на ходу пошел, – отвечал Петр.

– Вино сердце веселит, вино разум творит, – присовокупил Сергеич, беря дрожащими руками стакан.

Матюшка, выпив, только стал облизываться, как теленок, которому на морду посыпали соли.

Из принесенного Семеном хлеба Сергеич взял ломоть, аккуратно посолил его и начал жевать небольшим числом оставшихся зубов.

Матюшка захватил два сукроя, почти в два приема забил их в рот и стал, как говорится, уплетать за обе щеки. Петр не брал.

– Что ты, и не закусываешь? – сказал я ему.

– Нет, не закусываю. Мы ведь не чайники, а водочники: пососал язык – и баста! – отвечал он и опять закашлялся, а потом обратился ко мне:

– Я, барин, батьку еще твоего знавал: старик был важный.

– Важный?

– Важный; лучше тебя.

– Чем же лучше? – спросил я.

– Да словно бы умней тебя был, – отвечал без церемонии Петр.

– Почему ж он умней меня был?

– А потому он умней тебя был, что уж он бы, брат, Пузичу за немшонные стены не дал ста серебром – шалишь! Денег, видно, у тебя благих много.

– То-то и есть, что не много, а мало, – сказал я.

– И денег-то мало. Ну, брат, видно, ты за правду не больно умен, – подхватил Петр.

Выпитый стакан водки очень, кажется, подействовал на его разговорчивость.

Матюшка при этом засмеялся. Сергеич покачал головой.

– Ты по городам ведь больше финтил, – продолжал Петр, – и батькиным денежкам, чай, глаза протер. Как бы старика теперь поднять, он бы задал перцу и тебе и приказчику твоему Семену Яковличу. Что, черномазое рыло, водки-то не подносишь? Али не любо, что против шерсти глажу? – обратился он к Семёну.

Тот поднес ему водки и проговорил:

– Эко мелево ты, Петруха! – но совсем не тем тоном, каким он говорил Пузичу.

– То-то мелево. Свернули вы, ребята, с баарином домок, нечего сказать. Прежде, бывало, при старике: хлеба нет, куда ехать позаимствоваться? В Раменье... А нынче, посмотришь, кто в Карцове хлеба покупает? Все раменский Семен Яковлич.

– Божья воля; колькой год все неурожаи да червь побивает, – заметил Семен; но Петр как

бы не слышал этого и продолжал, обращаясь к Сергеичу:

– Прежде, бывало, в Воньшеве работаешь, еще в воскресенье во втором уповоде мужики почнут сбираться. «Куда, ребята?» – спросишь. «На заделье». – «Да что рано?» – «Лучше за-время, а то барин забранится»... А нынче, голова, в понедельник, после завтрака, только еще запрягать начнут. «Что, плуты, поздно едете?» – «Успеем-ста. Семен Яковлич простит».

Семена начинало за живое, наконец, трогать.

– Что, паря, больно уж конфузишь, и еще перед барином? – проговорил он.

Петр сначала засмеялся, потом закашлялся.

– Что мне тебя, голубчик, конфузить? – начал он, едва отдыхая от кашля. – Не за что! Ты ведь выдался не из плутов, а только из дураков.

Семен махнул рукой. Мне стало уж жаль его.

– Я, напротив, очень доволен Семеном; мне такого смиренного и доброго приказчика и на-



до, – сказал я.

Петр посмотрел мне в лицо.

– У тебя какой чин-то, большой али нет? – спросил он вдруг.

– Титулярный советник – капитан, значит, – отвечал я.

– Не чиновен же ты, брат! Вон у нас барин, так генерал; а ты, видно, и служить-то не охоч. Барыню-то в замужество хошь богатую ли взял?

– Нет, не богатую, а по сердцу.

– По сердцу, ну да! – возразил Петр. – Прощее твое дело, как я посмотрю на тебя! А ты бы дослужился до больших чинов, невесту бы взял богатую, в вотчину бы свою приехал в карете осьмериком, усадьбу бы сейчас всю каменную выстроил, дурака бы Сеньку своего в лисью шубу нарядил.

– Это кому как бог даст. Ты вот и сам не богат, – сказал я.

– Что тебе примеры-то с меня брать? А, пожалуй, выходит, что и взаправду в меня пошел: такой же дурашный! – отрезал начисто Петр.

– Больно уж смело, Петр Алексеич, гово-

ришь! – заметил Сергеич, опасавшийся, кажется, чтоб я не обиделся.

– Что смело-то? Али, по-твоему, лиса бесхвостая, лясы да балясы гладкие точить? – отвечал ему Петр и отнесся ко мне, показывая на Сергеича. – Ведь прелукавый старичишко, кто его знает: еще по сию пору за девками бегает, уговорит да умаслит ловчей молодого.

Сергеич слегка покраснел.

– Полно, друг сердечный! – возразил он. – Что тебе на меня воротить, лучше об себе открыть; теперь-то на седьмую версту нос вытянул, а молодым тоже помним: высокий да пригожий, только девкам и угожий.

При этих словах, неизвестно почему, Матюшка вдруг засмеялся. Петр на него посмотрел.

– Ты чему, дурак, смеешься? Али знаешь, как девки любят? – спросил он.

– Нету, дяденька, я этого не знаю, нетути, – отвечал тот простодушно.

– И ладно, что нету; дуракова рода, говорят, нынче разводить не приказано. Пузичев сынишко последний в племя пущен, – проговорил Петр и потом прибавил, как бы сам с со-

бою: – Было, видно, и наше времечко; бывало, можно так, что молодницы в Семеновском-лапотном на базаре из-за Петрушки шлыками дирались – подопьют тоже.

– Из-за кости с мозгом, Петр Алексеич, и собаки грызутся... Хорошую ягоду издалече ходят брать, – сказал Сергеич.

– Стало быть, ты смолоду, Петр, волокита был? – спросил я его.

Он усмехнулся.

– Волокитствовал, сударь, – отвечал за него Сергеич, – сторонка наша, государь мой милостивый, не против здешних мест: веселая, гулливая; девки толстые, из себя пригожие, нарядные; Петр Алексеич поначалу в неге жил, молвить так: на пиве родился, на лепешках поднялся – да!

– В Дьякове, голова, была у меня главная притона, слышь, – начал Петр, – день-то деньской, вестимо, на работе, так ночью, братец ты мой, по этой хрюминской пустыне и лупишь. Теперь, голова, днем идешь, так боишься, чтобы на зверя не наскочить, а в те поры ни страху, ни устали!

– Значит, сердцем шел, а не ногами, – заме-

тил Сергеич.

– Какое тут к ляду сердцем! – возразил Петр. – Я на это был крепок, особой привязки у меня никогда не было, а так, баловство, вон как и у Сеньки же.

– Что тебя Сенька-то трогает? Все бы тебе Сеньку задеть! – отозвался Семен.

– Ты молчи лучше, клинья борода, не серди меня, а не то сейчас обличу, – сказал ему Петр.

– Не в чем, брат, меня обличать, – проговорил кротко, но не совсем спокойно Семен.

– Не в чем? А ну-ка, сказывай, как молодым бабам десятины меряешь? Что? Потупился? Сам ведь я своими глазами видел: как, голова, молодой бабе мерять десятину, все колов на двадцать, на тридцать простит, а она и помни это: получка после будет!

Семен не вытерпел и плюнул.

– Тьфу, греховодник! Мели больше! – проговорил он.

– Ты не плюйся, а водку-то поднеси, – сказал Петр.

– Мелево, мелево и есть, – говорил Семен, поднося водку.

Петр, выпив, опять надолго закашлялся каким-то глухим, желудочным кашлем.

– Вели подносику-то своему выпить: у него давно слюнки текут, – обратился он ко мне, едва отдыхая от кашля, и замечанием этим сконфузил и меня и Семена.

– Выпей, Семен; что ж ты сам не пьешь? – поспешил я сказать.

– Слушаю-с, – отвечал растерявшийся Семен, налил себе через край стакан и выпил. – Я теперь пойду и отнесу штоф в горницу, – прибавил он.

– Ступай, – сказал я.

Семен ушел. Он, кажется, нарочно поспешил уйти, чтоб избавиться от колких намеков Петра; тот посмотрел ему вслед с насмешкою и обратился ко мне:

– Ты, барин, взаправду не осердись, что я просто с тобой говорю; коли хочешь, так я и отстану.

– Напротив, я очень люблю, когда со мной говорят просто.

– Это ведь уж мы с этим старым девушником, Сергеичем, давно смекнули.

– Смекнули? – спросил я.

– Смекнули, – отвечал Петр. – Ты не смотри, что мы с ним в лаптях ходим, а ведь на три аршина в землю видим. Коли ты не сердисься, что с тобой просто говорят, я, пожалуйста, тебя прощу и на ухо тебе скажу: ты не дурашный, а умный – слышь? А все, братец ты мой, управляющему своему, Сеньке, скажи от меня, чтоб он палку-понукалку не на полатях держал, а и на полосу временем выносил: наш брат, мужик – плут! Как узнает, что в передке плети нет, так мало, что не повезет, да тебя еще оседлает. Я это тебе говорю, сочти хоть так, за вино твое! Скажем по мужике, да надо сказать и по барине.

– За совет твой спасибо, – сказал я, – только сам вот ты отчего все кашляешь?

– Болен я, братец ты мой.

– Чем же?

– Нутром, порченный я, – отвечал Петр, и лицо его мгновенно приняло, вместо насмешливого, какое-то мрачное выражение.

– Кто ж это тебя испортил? – спросил я.

Петр молчал.

– Кто его испортил? – отнесся я к Сергеичу.

– Не знаю, государь милостивый; его де-

да! – отвечал уклончиво старик.

– Не знает, седая крыса, словно и взаправду не знает, – отозвался Петр.

– Знать-то, друг сердечный, може, и знаем, да только то, что много переговоришь, так тебе, пожалуй, не угодишь, – отвечал осторожный Сергеич, который, кажется, чувствовал к Петру если не страх, то по крайней мере заметное уважение.

– Что не угодить-то? Не на дорогу ходил! – сказал Петр и задумался.

– Что такое с ним случилось? – спросил я Сергеича.

– По дому тоже, государь милостивый, вышло, – отвечал опять не прямо старик. – Мы ведь, батьки-мужики, – дураки, мотунов да шатунов деток, как и я же грешный, жалеем, а коли парень хорош, так давай нам всего: и денег в дом высылай, и хозяйку приведи работающую и богатую, чтоб было батьке где по праздникам гостить да вино пить.

– В моем, голова, деле батька ничего, – возразил Петр, – все от Федоски идет. В самую еще мою свадьбу за красным столом в обиду вошла...

– Что ж так неудобно ей было? – спросил Сергеич.

– Неудобно ей, братец ты мой, показалось, что наливкой не угощали; для дедушки Сидора старухи была, слышь, наливка куплена, так зачем вот ей уваженья не сделали и наливкой тоже не потчевали, – отвечал Петр. (В лице его уж и тени не оставалось веселости.)

Сергеич покачал головой.

– Кто такая эта Федосья? – спросил я.

– Мачеха наша, – отвечал Петр и продолжал: – Стола-то, голова, не досидела, выскочила; батька, слышь, унимает, просит: ничего не властвует – выбежала, знаешь, на двор, сама лошадь заложила и удрала; иди, батька, значит, пешком, коли ей не угодили. Смехоты, голова, да и только втепоры было!

Сергеич опять покачал головой.

– Командирша была, друг сердечный, над стариком; слышали мы это и видывали.

– Командирша такая, голова, была, что сinya пороха без ее воли в доме не сдувалось. Бывало, голова, не то, что уж хозяйка моя, приведенная в дом, а девки-сестры придут иной раз из лесу, голодные, не смеют ведь, братец



ты мой, без спросу у ней в лукошко сходить да конец пирога отрезать; все батьке в уши, а тот сейчас и оговорит; так из куска-то хлеба, голова, принимать кому это складно?

– Злая баба в дому хуже черта в лесу – да: от того хоть молитвой да крестом отойдешь, а эту и пестом не отобьешь, – проговорил Сергеич и потом, вздохнув, прибавил: – Ваша Федосья Ивановна, друг сердечной Петр Алексеич, у сердца у меня лежит. Сережка мой, може, из-за нее и погибает. Много народу видело, как она в Галиче с ним в харчевне деньгами руководствовала.

Петр махнул рукой.

– Говорить-то только неохота, – пробунчал он про себя.

– Да, то-то, – продолжал Сергеич, – было ли там у них что – не ведаю, а болтовни про нее тоже много шло. Вот и твое дело: за красным столом в обиду вошло, а може, не с наливки сердце ее надрывалось, а жаль было твоего холоства и свободушки – да!

Петр еще больше нахмурился.

– Пес ее, голова, знает! А пожалуй, на то смахивало, – отвечал он и замолчал; потом,

как бы припомнив, продолжал: – Раз, братец ты мой, о казанской это было дело, поехала она праздничать в Суровцово, нарядилась, голова, знаешь, что купчиха твоя другая; жеребенок у нас тогда был, выкормок, конь богатый; коня этого для ней заложили; батька сам не поехал и меня, значит, в кучера присудил.

– А у кого в Суровцове-то гостились? – перебил Сергеич.

– Гости, голова, у нас в Суровцове были хорошие: у Лизаветы Михайловны, коли знавал, – отвечал Петр.

– Знавал, друг сердечный, знавал: гости наипервые, – сказал Сергеич.

– Гости важные, – подтвердил Петр и продолжал: – Все, голова, наша Федосья весело праздничала; беседы тоже повечеру; тут, братец ты мой, дворовые ребята из Зеленцына наехали; она, слышь, с теми шутит, балует, жгутом лупмя их лупит; другой, сердечный, только выгибается, да еще в стыд их вводит, голова: купите, говорит, девушкам пряников; какие вы парни, коли у вас денег на пряники не хватает!

– Какая! Пряников просит! – проговорил

Матюшка.

– Бойкая была женщина, смелая! – заметил Сергеич.

– Поехали мы с ней, таким делом, уж на четвертый день поутру, – продолжал Петр, подперши голову обеими руками и заметно увлеченный своими воспоминаниями, – на дорогу, известно, похмелились маненько; только Федоска моя не песни поет, а сидит пригорюнившись. Ладно! Едем мы с ней таким делом, путем-дорогою... вдруг, голова, она схватила меня за руку и почала ее жать, крепко сжала. «Петрушка, говорит, поцалуй меня!» – «Полно, говорю, мамонька, что за цалованье!» – «Ну, Петрушка, – говорит она мне на это, – кабы я была не за твоим батькой, я бы замуж за тебя пошла!» Я, знаешь, голова, и рассмеялся. «Что, пес, говорит, смеешься? А то, дурак, може, не знаешь, что хоша бы родная мать у тебя была, так бы тебя не любила, как я тебя люблю!» – «На том, говорю, мамонька, покорно благодарю». – «Ну, говорит, Петруша, никому, говорит, николи не говорила, а тебе скажу: твой старый батька заедает мой молодой век!» – «Это, мамонька, говорю,

старуха надвое сказала, кто у вас чей век заедает!» – «Да, говорит, ладно, рассказывай! Нынче, говорит, батька тебя женить собирается; ты, говорит, не женись, лучше в солдаты ступай, а не женись!» – «Что же, говорю, мамонька, я такой за обсевок в поле?» – «Так, говорит, против тебя здесь девки нет, да и я твоей хозяйки любить не стану». – «За что же, говорю, твоя нелюбовь будет?» – «А за то, говорит, что не люблю баб, у которых мужья молодые и хорошие».

– Ты, однако, женился? – перебил я Петра.

– На; али испугаться и не жениться? – возразил он.

– По любви или нет?

– Почем я знаю, по любви али так. Нашел у нас, мужиков, любовь! Какая на роду написана была, на той, значит, и женился! – отвечал уж с некоторым неудовольствием Петр.

Сергеич подмигнул мне.

– Не сказывает, сударь, а дело так шло, что на улице взглянулись, на поседках посиделись, а домой разошлись – стали жалость друг к дружке иметь.

– Что за особливая жалость, голова, а из-

вестно, девку брал зазнаемо: высмотренную, – отвечал Петр еще с большей досадой.

Русский мужик не любит признаваться в нежных чувствах.

– А мачеха действительно не любила жены твоей? – спросил я его.

– Нет, не любила, – отвечал он мне коротко и обратился более к Сергеичу. – Тут тоже, голова, как и судить: хоть бы бабе моей супротив девок первые годы житье было не в пример лучше, только то, братец ты мой, что все она мне ее подводила! Вот тоже этак, в отлучке, когда на работе: «Рубашек, говорит, тебе не послала, поклону не приказывала», и кажинный, голова, раз, как с работы воротисься, кажинный раз так сделает, что я Катюшку либо прибраню, либо и зуботычину дам. Та, братец ты мой, терпела, терпела да и стала говорить: «За что ты, говорит, меня тиранишь? Это, говорит, оттого, что у тебя полюбовница есть». – «Какая, говорю, полюбовница?» – «Бочариха», говорит. Ну и тоже греха не утаишь: в парнях с Бочарихой гулял, только то, что года два почесть ее и в глаза уж не видал. – «Кто это тебе, говорю, сказывал?» Сначала, голова,

не открывала, а тут говорит: матка сказывала, слышь!

– Так, так, сомущали, значит, – подтвердил Сергеич.

– Еще как, голова, сомущали-то, – продолжал Петр. – Вышла мне такая оказия, братец, в Кострому идти работать – ладно. Только перед самым моим этим отходом Федоска такую штуку подвела, слышь: сложила, уж будто бы Катюшка с извозчиком Гришкой – знавал, може? – Что будто бы, братец ты мой, Катюшка бегала без меня к матке на праздник; весь народ по улице гулял, а они с Гришкой ушли в лес по черницу. Дело-то, знаешь, на отходе было, выпивши; я на Катюшку и взъелся, а она стала сглупа-то браниться: пошто пью. Я и прибил ее, и шибко прибил. Что же, голова, опосля узнал? Катюшка, слышь, и на праздник к матке не ходила. Стало мне ее, голова, хошь бы и жалко. Как пришел втепоры в Кострому, сейчас купил ей ситцу на сарафан, два плата, босовики и послал с ходоком. И ты, братец ты мой! И пошла у них из-за этого пановщина: девки позавидовали, обозлились на Катюшку, матка тоже пуще всех, и к батьке с

жалобой. «Вот, говорит, он какой: ни мне, ни девкам твоим по наперсточку не присылывал, а все в женин сундук валит». Батька, известно, осерчал, говорит Катюшке: «Поди принеси наряды, что муж прислал». Ну, та, голова, молода еще была, глупа, нарядиться тоже охота, взяла будто пошла за нарядами, да к матке и убежала, там их и спрятала, а сама домой нейдет: боится. Батька, однако, оттель ее ссягнул и бить прибирается: давай, да и только, наряды! И отняли таким манером: matka взяла себе босовики и сарафан, а девки по плату разделили.

– Как же батька мог взять твои подарки у жены? – спросил я Петра.

Он посмотрел на меня, как бы удивясь моему вопросу.

– Заведенье у нас, государь мой милостивый, по крестьянству такое, – отвечал за него Сергеич. – Ежели теперича мужичок хозяйке что посылает, так и дому всему должен послать. Коли, примерно, бабе сарафан, так матке шаль, а сестрам по плату, али сережки. Это уж нельзя: непорядок, значит, будет, коли теперича промышленник в доме стал только су-

пружницу обряжать да наряжать; а другим бы, хоть бы девкам али матке, где взять? За косулей да за коровами ходючи, немного нарядишься. Хоть бы и Петр Алексеич по сердцам это сделал.

– Вестимо, что по сердцам, – отозвался Петр. – Втепоры, как воротился, Катюшка тоже все мне это говорит; я так, братец ты мой, и положил: плюнуть, отступиться; только то вижу, голова, что бабенке, ни за што, ни про што житья нет: на работе мором морят, а поихнему все спит, делает все не так, да неладно – дура да затрапезница, больше и клички нет. Наложили, братец ты мой, тем временем у нас в вотчине бревен по пол-сотне с тягла – ладно. Батька, известно, присудил, чтоб это справил я; а чтоб, примерно, не медлить делом, сваливши бревно, сучья обрубить и подсобить его навалить на колеса – шла бы в лес Катька моя. Бабенка той порой была, голова, на сносе. Я батьке и говорю: «Как, я говорю, батька, тяжелой бабе с бревнами возиться? Ну как, я говорю, надорвется, да какой грех выйдет?» – «Что-ста, говорит, али мне из-за вас околевать в лесу?» – «Я, говорю, батька,



сам собой этого дела не обегаю; а что теперича для спорыньи, пожалуйста, пошли хоть старшую сестру со мной, а хозяйку мою побереги; я, говорю, заслужу вам за это». Батька ничего, голова, пробунчал только маненько, а Федоска и слезает с голбца. «Наши девки, говорит, про вас не работницы, вы-ста, говорит, с своей толсторожей хозяйкой только даром хлеб едите!» – «Как, я говорю, матка, мы даром хлеб едим? За что, про что ты нас этим попрекаешь? Я со всего дома подушную оплатил, за себя оброк предоставил; теперь, говорю, за батьку и задельничаю; а хоша бы и хозяйка моя за тебя же круглый год на заделе бегала; как же, я говорю, так: мы у вас даром хлеб едим?» Заругалась, заплевалась, голова, и все на Катьку больше: «Ты, говорит, мужа сомущаешь, а он того не знает, что ты и то и се, с тем и другим», – выходит, Катька гуляет! Ну та, братец ты мой, на всю избу этак срамит, заплакала. «За что, говорит, мамонька, ты против хозяина так меня губишь?» Я тоже, братец, не стерпел. «Что ж, я говорю, Федосья, – и выругал ее – согрешил грешный, – долго ли, выходит, мы должны от тебя обиды

принимать? Вы, я говорю, у хозяйки моей, словно разбойники какие, все наряды обобрали, морите бабу на работе, куска ей не уболите съесть, как надо, да еще поносишь такими словами, а по правде, може быть, не Катька моя, а ты сама такая!» И ты, братец ты мой! И батька поднялся, будто за наряды, что о нарядах помянул, и драться, голова, лезет. Я, повинным делом, руки-то маненько ему и попридержал; еще пуще старик обозлился, стреб, голова, меня за шивороток и прямо к бурмистру в сборную стащил. Так и так, сын буянствует. Тот мне сейчас плюхи две дал и приказывает, чтоб я батьке в ноги поклон. Я в ноги поклониться – поклонился, да бурмистру и говорю: «Батьке, говорю, Иван Васильич, я завсегда покорствую; а что теперича мы все пропадаем из-за мачехи; хозяйка моя на работе измаяна, словом обругана. Може, вы теперь мне доверья не сделаете, так извольте, говорю, наших девок, сестер моих, спросить: пускай они перед образом скажут, что они от нее понесли да потерпели...» Ну, так ведь тоже нашего Ивана Васильича помнишь, чай: немного было правды...

– Правда его была, кто больше чаем поит да денег носит, – заметил Сергеич.

Петр кивнул в знак согласия головой и продолжал:

– Закричал на меня, голова: «Цыц! Молви еще слово против батьки – выхлещу» – и вон выгнал... Ладно рассудил... Что мы, голова, опосля того с хозяйкой притерпели – и боже ты мой! Батька не глядит, не смотрит; в большой избе, видишь, тесно от нас стало, поселили в коровью, без полу, без лавок, вместе с телятами. Коли мы теперь с бабой что-нибудь на работе позамешкаемся, сейчас, голова, без нас, совьют, соберут и отобедают; коли щей там останется, так Федоска в лоханку выльет, чтоб только нам не доставалось, – до чего эхидствовала!.. – Проговоря это, Петр вздохнул, а потом, помолчав, продолжал: – Кабы не это дело, пошто бы мне с батькой делиться, на грехи эти идти? Старика оборвал и себя надорвал!

– Как, друг сердечный, не надорвать! – возразил Сергеич. – Недаром поговорка идет: «Враг захотел – братья в раздел!» Хотели, значит, миллионы нажить, а стали по миру хо-

дить... Помню я суды-то ваши с родителем перед барином, как еще смелости вашей хватило идти до него по экому делу?

Петр отвечал на это только вздохом.

– Что ж, разве у вас барин строгий? – сказал я.

– Нет, государь милостивый, – отвечал Сергеич, – строгости особой нет, а известно, что... дело барское, до делов наших, крестьянских, доподлинно не доходил; не все ведь этикие господа, как твой покойной папенька был: с тем, бывало, говоришь, словно со своим братом – все до последней нитки по крестьянству знал; ну, а наш барин в усадьбу тоже наезжает временно, а мужики наши – глупой ведь, батюшка, народец, и полезут к нему со всякими нуждами, правыми и неправыми, так тоже в какой час попадут; в иной все смирно да ласково выслушает, а в другой, пожалуй, еле и ноги уpletут – да!

– Горяч уж больно, кричать такой здоровый... – заметил Петр. – До барина бы, кажись, тем делом я прямо и не пошел, прах все возьми: где тут с ним разговаривать! Да он с молодой барыней тем летом приехал... меня заста-

вили тут с другим парнем в саду забор новый делать. Она, голова, по саду гуляет, к нам подходит, разговаривает. «Есть ли, говорит, у тебя жена?» – спрашивает меня, слышь. «Есть, говорю, барыня». – «Любишь ли ты, говорит, ее?» – «За что, говорю, не любить! Не чужая, а своя, только, говорю, барыня, хоть бы ты за нас заступилась, а то нам с хозяйкой от стариков в дому житья нет; теперь, говорю, у бабенки моей малый грудной ребенок, грудью покормить почесть что и некогда: все на работе, а молока не дают; одна толоконная соска, и та еще коли не коли в рот попадет». – «Ах, говорит, как же это, маленькому нет молочка! Папаша! Папаша!» – кричит, голова, барина, мужа, батькой обзывает, слышь!

– Обзывала, обзывала, и я слышал, – подтвердил Сергеич.

– Мужа батькой кличет! – отозвался Матюшка и засмеялся.

– Барин, голова, подходит, – продолжал Петр. «Ах, говорит, душечка, папашечка; вон у этого мужичка маленький ребенок: у них нет молочка; вели ему сейчас дать от меня корову, пожалуйста».

– У ней у самой, друг сердечный, маленький барчик был: ну, так она, значит, по себе и прикидывала, жалела, – заметил Сергеич.

– Не знаю, к чему уж она прикидывала, – отвечал Петр и снова продолжал: – Барин, голова, крикнул, знаешь, на меня по-своему. «Как, говорит, у тебя коровы нет? Пропил, каналья!» – «Никак нет-с, говорю; дом у нас заправной. Из-за мачехи мы пропадаем; в раздел бы нам, говорю, охота, а то батька в раздел не пускает и при доме не держит, как надо». Он маненько и смяк. «Хорошо, говорит, приходите ко мне завтра с отцом: я вас разберу». Я, голова, пришел домой, говорю батьке: «К барину, говорю, батька, нас с тобой завтра требует». «Пошто? – говорит; слышь, испугался старик. – Жаловался, что ли, ты, разбойник, на меня?» – «Нет, говорю, батька, что жаловаться! В отдел только просился: у тебя семья своя, у меня своя, что нам на грехе жить!» Батька и заплакал, слышь; ну, старый уж человек был, известно! «Бог с тобой, говорит, Петруша, поил-кормил я тебя, а ты, говорит, теперь, я старый да хворый, хошь меня покинуть». Мне стало жаль его, голова. «Что, гово-

рю, тятенька, кидать мне тебя, кабы не твоя Федосья Ивановна». – «Полно, говорит, Петрушка, поживи со мной, все будет хорошо». Так мы и порешили, голова, на том. Только наутро, братец ты мой, старик уж другое порет. «Мне-ста, говорит, тебя, супротивника, не надо; ступай от нас вон; пойдём к барину». – «Пойдем», говорю. Пошли. Приходим. Барин, должно, голова, стороной слышал что-нибудь: на меня этак посмотрел – ничего, а на батьку взмахнул глазами. «Говорите!» – говорит. Стали мы говорить; плели, плели, братец ты мой, всех и куриц-то припутали, я то еще говорю словно бы как и дело, а батька и понес, голова, на меня: и пьяница-то я, и вор, и мошенник. Я ему и говорю: «Не грех ли, говорю, батька, тебе это говорить?» Барин тоже слушал, слушал нас, да как крикнет на батьку: «Ах ты, говорит, старый хрен, с седой бородой, взял молодую жену да детей всех на нее и променял! Сейчас, говорит, старая лисица, плут, отделить парня, а с твоей супружницей я еще переделаюсь. Я ей дам кутить да мутить в семье!» И пошел, голова!.. Тут лакей подвернулся – на того; барыня пришла: «Что ты, го-

ворит, душечка, сердисься и себя не бере- жешь!» – и на ту затопал. Мы с батькой уж ничему и не рады, драло из горницы, и до из- бы еще, голова, не дошли, смотрим: два дво- ровые парня нашу Федосью Ивановну ведут под ручки...

Сергеич засмеялся.

– Ступай, значит, Варвара, на расправу: так ее, бестию, и надо, – проговорил он.

– Воротилась, голова, домой и прямо на печку, – продолжал Петр, – ничего уж и не го- ворит, только проохивает. Смех и горе, братец ты мой!

Сергеич продолжал улыбаться.

– А что, я словно забыл, миром вас делили али так разошлись по себе? – спросил он.

– Коли, братец ты мой, мужики по себе разойдутся! – отвечал Петр. – Когда еще это бывало? Последнего лыка каждому жалко; а мы с батькой разве лучше других? Прики- дывали, прикидывали – все ни ему, ни мне не ладно, и пошли на мир... Ну, а мировщину на- шу тоже знаешь: весь разум и совет идет из дьяконовского кабака. Батька, известно, съез- дил туда по приказу мачехи, ведерко-другое в



сенях, в сборной, выставил, а мне, голова, не то что ведро вина, а луковицы купить было не на что.

– Так, так; по тебе, значит, и мало говорили? – заметил Сергеич.

– А так по мне говорили: худ ли, хорош ли я, а все в доме, коли не половинник, так третевик был; а на миру присудили: хлеба мне – ржи только на ежу, и то до спасова дня, слышь; а ярового и совсем ничего, худо тем годом родилось; из скотины – телушку недоюную, бычка-годовика да овцу паршивую; на житье отвели почесть без углов баню – разживайся, как хошь, словно после пожара вышел; из одежи-то, голова, что ни есть, и того как следует не отдали: сибирочка тоже синяя была у меня и кушак при ней астраханский, на свои, голова, денежки до копейки и заводил все перед свадьбой, и про ту старик, по мачехину наущенью, закрестился, забожился, что от него шло – так и оттягал.

Сергеич качал головою.

– Бревен, братец ты мой, было у меня на пустоши нарублено триста с полсотней, – продолжал Петр, – стал этих я бревен у батьки

просить на обзаведенье, по крайности сухие – и того старик не дал; руби, значит, сызнова и из сырого леса. Строить тоже принялся: прихватить хошь бы какого плотничиска не на што; так с одной хозяйкой и выстроил. Срамоты-то одной, голова, ни за што бы не взял; я сижу на одном угле, а баба на другом: потяпывает, как умеет; а уж как свою-то спину нагнул да надломил, так... – Тут Петр остановился и махнул рукой.

– Покойный родитель твой, – начал Сергеич, – был благоприятель мой, сам знаешь, а не скажу по нем: много против тебя греха на душу принял.

– Нет, братец, не то, – возразил Петр, – дело теперь прошлое, батьку мне грех помянуть много лихом: не со зла старик делал, а такое, видно, наваждение на него было.

– Эх, друг сердечный, – возразил, в свою очередь, Сергеич, – да разве на нем одном эти примеры? Старому мужику молодую бабу в дом привести – семью извести.

Я видел, что Сергеич и Петр так разговорились, что их не надобно уж было спрашивать, а достаточно было предоставить им говорить

самим, и они многое рассказали бы; но мне хотелось направить разговор на предмет, по преимуществу меня интересовавший, и потому я спросил:

– Тебя мачеха твоя, вероятно, и испортила?

Петр вместо ответа кивнул мне головой.

– Каким же образом она тебя испортила?

Петр посмотрел на меня с насмешкой и отвечал с некоторым неудовольствием:

– Да я почему знаю! Какой ты, барин, право!

– Что ж такое?

– Да как же! Скажи ему, как портят? Я не колдун какой.

– Почему ж ты так думаешь, что тебя испортили?

– Перестань-ка; разговаривать что-то с тобой неохота: больно уж ты любопытен! – отвечал Петр с досадою.

Предыдущий разговор заметно возбудил в нем желчное расположение.

– Не собою, государь милостивый, узнал, – вмешался хитрый Сергеич, видевший, что мне любопытно знать, а Петр не хочет отвечать и начинает сердиться, – самому где экое дело узнать! – продолжал он. – Тоже хворал,

хворал, значит, и выискался хороший человек – да! – Сказал, как и отчего.

– Кто же это такой хороший человек? – спросил я.

– Колдун у нас, батюшка, был в деревне Печурах, – отвечал Сергеич, – так и прозывался «печурский старичище».

– Плутom, голова, в народе обзывался, а мне все сказал, – перебил Петр.

– Плут ли там, али нет, кто про то знает? – возразил Сергеич. – А что старик был мудрый, это что говорить! Что ведь народу к нему ездило всякого: и простого, и купечества, и господ – другой тоже с болестью, другой с порчей этой, иной погадать, где пропащее взять, али поворожиться, чтобы с женкой подружиться. И такое, государь, заведение у него было, – продолжал он, обращаясь ко мне, – жил он тоже бобыльком, своим домком, в избушке, далече от селенья, почесть что на поле; и все калитка назаперти. Теперича, другое-иное время, народ видит, что он под окошечком сидит, лапотки поковыривает али так около печки кряхтит, стряпает тоже кое-что про себя; а как кто, сударь, подъехал, он калитку от-

пер и в голбец сейчас спрятался; ты, примерно, в избу идешь, а он оттоль из голбца и лезет: седой, старый, бородища нечесаная; волосищи на голове, как овин, нос красный, голощице сиплый. Я тоже старшую сношку послал к нему: овцы у нас запропали; так в избу-то войти вошла, а как увидела его, взвизгнула и бежать – испугалась, значит. И кто бы теперь к нему ни пришел, сейчас и ставь штоф вина, а то и разговаривать не станет: лом был такой пить, что на удивление только.

– Штоф купить не разоренье, – возразил Петр, – я тем временем в Галиче рублей полтора ста пролечил: брал-брал у Пузича денег, да и полно! Дошел до того, голова, ни хлеба в доме, ни одежды ни на себе, ни на хозяйке; на работу силы никакой не стало; голодный еще кое-как маешься, а как поел – смерть да и только; у сердца схватит; с души тянет; бывало, иной раз на работе али в поле, повалишься на луг да и катаешься час – два, как лошадь в чемере. Не смог, братец ты мой, до Печур-то дойти, хозяйке велел уж телегу заложить, повалился, словно пласт; до чего бы дошел, и

бог ведает. Приехали втепоры к нему; хозяйка подала ему полштофчика, вылил, голова, в ковшик, выпил сразу и тут же ворожить стал. «Поди, – говорит хозяйке, – почерпни в этот ковшик в сенях из кадки воды; вино, говорит, не споласкивай, а так и черпай, как я пил». Принесла та, братец ты мой; он подал мне: «Гляди, говорит, от кого твоя болезнь идет»; так, голова, мачеху мне в воде и показал.

– Как же ты в ковше ее видел? – спросил я.

– Въявь, словно в зеркале, – отвечал Петр.

– Полно, Петр; ты это думал, так тебе так и показалось, – сказал я.

– Ну да, показалось. Вы, баря, все не верите; больно уж умны! Не пьяному показалось: у меня втепоры не то что вина, куска во рту не бывало. Смотрю, голова, и вижу. «Видишь ли?» – говорит он мне. «Вижу, говорю, дедушка». – «Ну, брат, ладно, говорит, что на меня наскочил. Твой лихой человек себя на сорока травах заговорил, никто бы тебе, окромя меня, не открыл бы его».

– Осилит, значит, – заметил Сергеич.

– Осилит, голова. «Я, говорит, знаю пятьдесят три травы; теперь, говорит, клади на стол

сколько денег привез, а тут и скажу, что надо». Хозяйка, голова, положила четвертак – удовольствовался.

– Капиталы не жадный был копить; вино чтоб было только пить, а денег сколько-нибудь дай – доволен, – заметил Сергеич.

– Какое, голова, жадный! Взял хоша бы тут четвертак и все сделал. «Теперь, говорит, ступай ты домой, слышь? Пять зорь умывайся росой, на шестую зорю ступай к третьим от здешнего селенья воротцам, и иди ты все вправо, по перегороде; тут ты увидишь, что все колья, что подпирают, нескобленные; один только кол скобленный; ты этот кол переруби, обкопай его кругом, и найдешь ты тут ладонку, и на этой ладонке наговор против тебя и сделан».

– Он, вероятно, сам этот кол и воткнул, – сказал я.

Петр рассердился.

– Да, да, рассудил, как размазал! – возразил он. – Вот он тоже этакого хватика-баринка, как ты, – тот тоже все смеялся да не верил, так он так ему отшутил, что хозяйка опосля любить и не стала, да и в люди еще пошла.

– Было, было это дело, – подтвердил Сергеич, – а теперича, – продолжал он, обращаясь ко мне, – коли свадьбы облизь его были, все уж забеспеременно звала его да угощали, а то навек жениха не человеком сделает...

– Да что, голова, – перебил Петр, – пять лет ведь, братец ты мой, я ходил и кол этот видел, только ничего не помянул на него. Всю перегороду опосля хозяйка обежала: все кольца на подбор нескобленные – один только он оскобленный. Для ча?.. Для какой надобности?..

– Так уж, видно, надо им было, – возразил Сергеич.

– А окромя кола, – продолжал Петр, – все до последней малости нашел по его сказанью, как по-писанному. «Как, говорит, ты эту ладонку сыщешь, в ней, говорит, бумажка зашита – слышь? Бумажку эту вынь и дай кому хошь грамотному прочесть, и как, говорит, тебе ее прочитают, ты ее часу при себе не оставляй, а пусти на ветер от себя». А про ладонку, братец ты мой, сказал: «Перелезь, говорит, ты через огород и закопай ее на каком хошь месте и воткни новый кол, оскобленный, и упри его в перегороду; пять зорь



опосля того опять умывайся росой, а на шестую ступай к перегороде: коли колик твой не перерублен и ладонка тут – значит, весь заговор их пропал; а коли твое дело попорчено – значит, и с той стороны сила большая». Все сделал, голова, по-его; однако на шестую зорю пришел: кол мой перерублен, и вся земля кругом взрыта, словно медведь с убойной возился.

– Осердились, значит! – проговорил Сергеич.

– То-то, видно, не по нраву пришлось, что дело их узнано, – отвечал Петр; потом, помолчав, продолжал: – Удивительнее всего, голова, эта бумажка; написано в ней было всего только четыре слова: напади тоска на душу раба Петра. Как мне ее, братец, один человек прочитал, я встал под ветром и пустил ее от себя – так, голова, с версту летела, из глаз-на-ли пропала, а на землю не падает.

Проговорив это, Петр задумался. Некоторое время разговор между нами прекратился.

– Я все, друг сердечный, дивуюсь, – начал Сергеич глубокомысленно, – от кого это ваша Федосья науки эти произошла? По нашим ме-

стам, окромя этого старичищи, не от кого заняться.

– Э, голова, нет! Не то! – возразил Петр. – Я уж это дело опосля узнал: у них в роду это есть.

– В роду? Вот те что! – воскликнул Сергеич.

– Да, в роду, – продолжал Петр. – Може, не помнишь ли ты, от Парфенья старушонка к нам в селенье переехала, нашей Федоске сродственница? Ну, у нас в избе, братец ты мой, и поселилась, на голбце у нас и околе-ла – втепоры никому невдомек, а она была колдунья сильная...

– Вот те что!.. – повторил еще раз Сергеич.

– Батька, ты думаешь, спроста женился? – продолжал Петр. – Как бы, голова, не так! Сам посуди: старику был шестой десяток, пять лет вдовствовал, девки на возрасте, я тоже в подростках немалых – пошто было жениться?

– Еще как, друг сердечный, пошто-то! – заметил Сергеич.

– Вдруг, голова, пожила у нас Федоска лето в работницах, словно сблаговал старик, говорит: «Я еще в поре, мне без бабы не жить!» Так возьми ровню; мало ли у нас в вотчине

вдов пожилых! А то, голова, взял из чужой вотчины девку двадцати лет, втепоры скрыл, а опосля узналось; двести пятьдесят выкупу за нее дал – от каких, паря, денег?..

Сказав это, Петр опять впал в раздумье.

– Что ж, тебе лучше стало после, как ты был у старичищи? – спросил я его.

– Лучше не лучше, по крайности жив остался, – отвечал он.

– Ты, однако, Петр Алексеич, долго про нее не сказывал да не оказывал! – сказал Сергеич.

– Я ее совсем не оказывал, так и скрыл: батьку все жалел, – отозвался Петр, не изменяя своего задумчивого положения.

– Да, – продолжал Сергеич, – отдаст эта бабенка ответ богу: много извела она народу; какое только ей будет на том свету наказание?

– А разве она и кроме еще Петра портила? – спросил я.

– Ай, сударь, как не портила! – отвечал Сергеич. – Теперича первая вот хозяйка его стала хворать да на нее выкликать. Была у нас девушка, Варюшка Никитина, гулящая этакая девчонка – ту, по ревности к дьяконскому ца-

ловальнику, испортила.

– А брата-то родного извела! – сказал Петр. – И за что ведь, голова, сам мне сказывал: в Галиче они тоже были; она и говорит: «Сведи меня в трактир, попой чайком!» Тому, голова, было что-то некогда. «Нету, говорит, опосля!» Она обозлилась. «Ну, ладно же, говорит, помни это!» И тут же, голова, и испортила: как приехал домой, так и ухватило. Маялся, маялся с месяц, делать нечего, пошел к ней, стал ей кланяться: «Матушка-сестрица, помилуй!» – «А, говорит, братец любезный, ты втепоры двугривенного пожалел, а теперь бы и сто рублей заплатил, да поздно!»

– Слышал и про это дело, – подтвердил Сергеич, – слава богу, – присовокупил он, – что на поселенье-то ее сослали, а то бы она еще не то бы натворила.

Петр на это ничего не отвечал и только вздохнул.

– Каким образом и за что именно сослали ее? – спросил я.

– Сослали ее, государь милостивый, – отвечал Сергеич, – вотчина того пожелала: первое, что похвалиться стала она на барина, что

барина изведет, пошто тогда ее поучили маненько... Тебя ведь, Петр Алексеич, не было втепоры, без тебя все эти дела-то произошли, – прибавил он, обращаясь к Петру.

– Без меня!.. Воротился тогда с заработки, прошел мимо родительского дому: словно выморочный – и ставни заколочены; батька помер, девок во двор взяли, а ее сослали! – отвечал Петр с какой-то тоской и досадой.

– Так, так! – продолжал Сергеич. – На каких-нибудь неделях все это и сделалось. Я тут тоже согрешил, грешный, маненько, доказчиком был, за Сережку-то больно злоба была моя на нее, и теперича, слышавши эти ее слова про барина, слышавши, что, окромя того, селенье стращает выжечь, я, прошлым делом, до бурмистра ходил: «Это, говорю, Иван Васильич, как ты хошь, а я тебе заявлю, это нехорошо; ты и сам не прав будешь, коли что случится – да!» С этих моих слов и пошло все. Бурмистр тоже поопасился: становому заявил. Тот сейчас наехал и обыск у ней в доме сделал: так однех трав, сударь, у ней четыре короба нашли, а что камушков разных – этих мы и не видывали; земли тоже всякой:

видно, все из-под следов человеческих. Стали ее опрашивать, какие это травы? «Не знаю». Чья земля? – «Не знаю»... Пошто она у тебя? – «Не знаю». Только и ответу было. Хошь бы в слове проговорилась. Двои сутки с ней становой бился, напоследок говорит бурмистру: «Что, говорит, с ней, бестией, делом вести! Как на нее докажешь! Пиши барину; он лучше распорядится». Так тот и описал. Барин и приказывает сослать ее на поселенье, коли мир приговорит. Тут она и сробела, и чего уж не делала, боже ты мой! И вином-то поила и денег сулила – ништо не взяло: присудили!

– В остроге-то, как она сидела, – начал Петр, – я тоже проходил мимо Галича, зашел к ней, калачик принес... заплакала, братец ты мой. «Не была бы, говорит, я в этом месте, кабы не один человек; не пошла бы я, говорит, за этим больно худым, кабы не хотела его приворожить, в сорока квасах ему пить давала – и был бы он мой, да печурский старичище моему делу помешал». Только и сказала: «Теперь, говорит, меня на поселенье ссылают; только ты, Петр, этому не радуйся: тебе самому не будет счастья ни в чем. Кажинный час

в сердце твоём будет тоска и печаль». И все ведь, голова, правду сказала: что, что живешь на свете! Ничего не веселит, словно темной ночью ходишь. Ни жена, ни дети, ни работа – ничто не мило, и сам себе словно враг какой! Вот только и есть, как этой омеги проклятой стакана три огородишь, так словно от сердца что поотляжет.

Проговорив это, Петр вздохнул и потом вдруг поднял голову.

– Будет! Баста! – сказал он. – Пора ужинать. Барину, я вижу, любо наше каляканье слушать, а нам все петухов будить придется. Матюшка, дурак! Подай шапку, вон лежит на бревнах!

Матюшка подал ему.

– Спасибо, – продолжал Петр, – я тебя за это в первый раз, как хлестать станут, за ноги поддержку, и уж крепко, не бойся, не вывернешься.

– Да за што меня хлестать станут? – спросил Матюшка.

– И по-моему, братец, не за што: душа ты кроткая, голова крепкая, – проговорил Петр и постучал Матюшку в голову. – Вона, словно в

пустом овине! Ничего, Матюха, не печалься! Проживешь ты век, словно кашу съешь. Марш, ребята! – заключил он, вставая.

– За угощенье твое благодарим, государь милостивый, – сказал Сергеич, кланяясь.

– Да ты ниже кланяйся, старый хрен! Всю жизнь спину гнул, а не изловчился на этом! – подхватил Петр, нагибая старику голову.

Сергеич засмеялся, Матюшка тоже захохотал.

– Прощай, барин, – продолжал Петр, надевая шапку. – Правда ли, дворовые твои хвастают, что ты книги печатные про мужиков сочиняешь? – прибавил он приостановясь.

– Сочиняю, – отвечал я.

– Ой ли? – воскликнул Петр. – В грамоте я не умею, а почитал бы. Коли так, братец, так сочини и про меня книгу, а о дедушке Сергеиче напиши так: «Шестьдесят, мол, восьмой год, слышь! Ни одного зуба во рту, а за девками бегают».

– Полно, балагур, полно! Пойдем лучше ужинать, коли собрался! – сказал Сергеич, слегка толкнув Петра в спину.

– Пойдемте! – отвечал тот и обнял одною



рукой Матюшку.

Веселость Петра, впрочем, вспыхнула на минуту: он опять потупил голову. Все они пошли неторопливо, и я еще долго смотрел им вслед, глядя на нетвердую и заплетающуюся походку Сергеича, на беспечную, но здоровую поступь кривоногого Матюшки, наконец, на задумчивую и сутуловатую фигуру Петра.

Успеньев день – у нас в приходе праздник. Это можно уж догадаться по тому, что кучер мой, Давыд, между нами сказать, сильный бахвал и большой охотник до парадных выездов, еще в семь часов утра, едва успел я встать, пришел в горницу.

– Что тебе? – спрашиваю я.

– Изволите ехать молиться к обедне или нет-с? Коли поедете, так лошадей надо припасти.

Собственно говоря, лошадей совершенно нечего припасать, а стоит только вывести из конюшни и заложить, и Давыд, я знаю, пришел спрашивать, чтоб скорее успокоить свое ожидание насчет того, удастся ли ему проехать и пофорсить.

– Поеду, – говорю я.

У Давыда от удовольствия кровь бросается в лицо.

– Жеребцов ведь припасти? – спрашивает он.

– Нет, братец, разгонных бы, – говорю я.

– На разгонных нельзя, вся ваша воля: раз-

гонные лошади совсем смучены; а что эти одры, стоят только да овес едят! Хошь мало-мальски промнутя, – возражает Давыд с вытянувшимся лицом, и я убежден, что одна мысль: ехать на разгонных к празднику, была для него мученьем.

– Ну хорошо, на жеребцах поедем, – говорю я, – только уговор лучше денег: в сарае не изволь их муштровать и хлестать, а то они у тебя выскакивают, как бешеные, и, подъезжая к приходу, не скакать благим матом, а то, пожалуй, или себе голову сломишь или задавишь кого-нибудь.

– Не извольте беспокоиться. Господи, боже мой! Не первый год езжу, – говорит Давыд и потом, постояв немного, присовокупляет: – Кафтан синий надо надеть-с?

– Конечно, – говорю я.

– Кушак тоже шелковый? – прибавляет он.

– Конечно, конечно, – подтверждаю я, не понимая еще, к чему он ведет этот разговор: синий кафтан и шелковый кушак находятся совершенно в его распоряжении.

– Вы этта изволили говорить, перчатки зеленые купить мне в Чухломе.

– Ну, да! Что ж?

– Не для чего покупать-с... у Семена Яковлича еще после папеньки вашего лежат кучерские перчатки; не дает только без вашего приказанья, а перчатки важные еще! – разрешает, наконец, Давыд, к чему он клонил разговор.

– Хорошо; скажи, чтоб дал, – говорю я.

И Давыд, очень довольный, отправляется. Надобно сказать, что он очень хороший кучер и вообще малый трезвого поведения и доброго нрава, но имеет одну слабость: прихвастнуть, и прихвастнуть не о себе, а все как бы в мою пользу. Вдруг, например, расскажет где-нибудь на станции, на которой нас обоих с ним очень хорошо знают, что я граф, генерал и что у меня тысяча душ, или ошибет какого-нибудь соседа-мужика, что у нас двадцать жеребцов на стойле стоят. Когда я бываю с ним иногда в городе и даю ему полтинник на чай, он этот полтинник никогда не издержит, но, воротившись домой, выбросит его на стол перед своей семьей и скажет: «Нате-ста: только и осталось от пяти серебром баринова подареньица». Кроме этих внешних достоинств,

он любил меня украшать и внутренними, нравственными качествами; так, например, припишет мне храбрость невероятную в рассказе такого рода, что раз будто бы мы ехали с ним ночью и встретили медведя, и он, испугавшись, сказал: «Барин, я пущу лошадей», а я ему на это сказал: «Подержи немного, жалко медвежьей шкуры», и убил медведя из пистолета, тогда как я в жизнь свою воробья не застреливал.

После Давыда начинает являться прочая дворня проситься на праздник – обычай, который заведен был еще прадедами и который я поддерживаю, имея случай при этом делать неистощимое число наблюдений. Первая является Александра скотница, очень плутоватая и бойкая женщина.

– Батюшка Алексей Феофилактыч, позвольте на праздник-то сходить, – говорит она.

– Хорошо, ступай; только как коровы без тебя останутся? Смотри!

– О коровах, батюшка, я баушку Алену просила: баушка походит. Как можно о скотинке не думать! Я о ней кажинный час жалею. И сегодня не пошла бы, да у тетки моей празд-

ник, а у меня и родни-то на свете только тет-ка родная и есть, – говорит она скороговоркой.

– Ступай, – говорю я, хоть и предчувствую, что она меня обманывает.

Только что Александра ушла, мимо окон по двору идет Андрюшка ткач, с женой, очень смазливый малый, год назад женившийся на молоденькой и очень хорошенькой из крестьян бабенке, значит, еще молодые и оба, в отношении меня, несмелые; они стоят некоторое время на дворе и перекосятся, кому идти проситься: наконец, подходит к окну молодая и кланяется.

– Здравствуй, милушка, – говорю я.

Она вся вспыхивает.

– На праздник, что ли, хочешь идти? – спрашиваю я.

– Нешто, сударь, – говорит она.

– Ну, ступай.

– И хозяйина уж пусти! – прибавляет она.

– Ступайте.

Она хочет идти.

– Да, постой, – говорю я, – у тебя грудной ребенок: как ты его оставишь?

– Пошто оставлять: с собой возьму.

– Помилуй, ты измучишь и сама себя и ребенка.

– Ой, ничего, – отвечает она, – мало ли с ребятами ходят, не одна я – ничего!

– Ступайте.

Она кланяется и опять краснеет и, подходя к мужу, говорит: «Пустил!» Тот тоже издала мне кланяется, и уходят оба. Комнатный человек мой Константин, спутник с десятилетнего возраста моей жизни, имеющий обыкновение обращаться со мной строго, приготовляет мне бриться и одеваться с мрачным выражением в лице. Ему тоже хочется на праздник, и он думает, что не попадет, по я намерен доставить ему это удовольствие.

– Константин, ты велишь оседлать себе лошадь и поедешь со мной.

– Слушаю-с, – отвечает он голосом, необычно суровым. – Старуха Алена пришла: просится тоже помолиться, – прибавляет он, умилившись сердцем от собственного удовольствия.

– Как же мне делать? Уж я скотницу отпустил, – воскликнул я. – Позовите старуху.

Старуха входит.

– Я ведь, старуха, скотницу Александру отпустил: она мне наврала, что ты берешься посмотреть за коровами.

– Ну, батюшка, вся ваша воля, – отвечает старуха покорным, но укоризненным тоном, – круглый год из-за этой Александры Алексеvны лба не перекрестишь. Она пошла пиво пить, а тебе и помолиться нельзя.

– Эй! Кто там? – кричу я. – Скажите Александре, чтоб она не уходила; а ты, старуха, ступай.

– Где уж, батюшка! Не воротишь ее: совсем нарядная приходила к тебе проситься; прямо из горницы и побежала; верст на пять теперь уж ушла.

Мне стало жаль старухи.

– На тебе двугривенный, что ты остаешься; а в следующее воскресенье я тебя на лошади отправлю богу помолиться, – говорю я.

– Ой, батюшка! Что это? Пошто? И так довольны вашей милостью, – говорит она; впрочем, берет двугривенный и этим отчасти успокаивается.

Я продолжаю смотреть в окно: старик по-



вар прошел, в белой манишке моего подаренья; молодая горничная, еще накануне завившая свои виски в мелкие косички, а теперь расчесавшая их, прибежала, как сумасшедшая, к матке в избу. Ключница прошла в погреб, в мериновом платье и в шелковом, связанном маленькой головкой, платочке. Это штат барыни, и они у нее, вероятно, отпросились. Я вижу даже, что у конского двора отчаянный Васька запрягает им в телегу лошадь и сам, никого не допуская, натягивает супонь. Таким образом, собирается почти вся дворня, за исключением разве дедушки Фадея: и тот остается потому, что с печки слезть не может. Впрочем, он только еще нынешний год не пошел, а прошлый ходил, но, не дойдя еще до прихода, свалился в канаву и пролежал тут почти целый день. Даже Семен, несмотря на свою флегматичность и бесстрастность характера, остался очень доволен, когда я ему предложил, чтоб и он тоже ехал. Никогда еще не замечал я в нем такой расторопности: не прошло пяти минут, как он уже сидел верхом на чалке, в синем кафтане и какой-то высокой бобровой шапке, бог знает от кого и каким об-

разом доставшейся ему. Однако пора и мне собираться; я оделся и вышел. Давыд, несмотря на мои просьбы и наставления, распорядился по-своему: лошади, весьма добронравные и хорошо приезженные, вылетели из сарая, как бешеные, так что он, повалившись совершенно назад, едва остановил их у крыльца. Я убежден, что они жесточайшим образом нахлестаны; кроме того, коренную он по обыкновению взнуздal бечевкой, чтоб круче шею держала, а бедным пристяжным притянул головы совершенно к земле, так что у них глаза и ноздри налились кровью. Напрасно я восставал против этой его системы закладыванья: на все мои замечания он отвечал: «Господа так ездят, красивее этак!..» В настоящем случае я ничего уж и не говорил и только просил его, ради бога, не гнать лошадей, а ехать легкой рысью; он сначала как будто бы и послушался; но в нашем же поле, увидев, что идут из Утробина две молоденькие крестьянки, не мог удержаться и, вскрикнув: «Эх, вы, миленькие!» – понесся что есть духу.

– Неужели ты, Давыд, думаешь, что нас мо-

лодцами за это сочтут? Напротив, дураками! – принимался я было ему втолковывать, но все напрасно. Подъезжая к приходу, он весь как-то уж изломался: шапку свернул набекрень, сам тоже перегнулся, вожжи натянул, как струны, а между тем пошевеливает ими, чтоб горячить лошадей. День был светлый; от прихода несся говор народа, и раздавался благовест вовся; по дороге шло пропасть народу, и все мне кланялись.

– Матка, чей барин-то? – говорит одна старуха другой.

– Филата Гаврилыча, матка, сын, али не узнала? – отвечает ей та.

– Ну, вот, какой хороший да пригожий! – говорит первая старуха.

На худой лошаденке, которые обыкновенно называются вертохвостками, гарцует некто Фомка Козырев, лакей и управляющий одной немолодой вдовы-помещицы. Уж три года, как Фомка стал являться на всех праздниках в плисовых штанах, в плисовой поддевке, с серебряными часами; путем поклониться ни с кем не хочет, простого вина не пьет, а все давай ему наливки. Жареных пы-

шек на иной ярмарке на рубль серебра съест в день, а орехи без перемежки в кармане насыпаны. За это и по другим, еще более уважительным причинам, его и прозвали полубарином. Завидев меня и замечая, что я начинаю его обгонять, он также, в свою очередь, начинает горячить лошадь, а сам представляет, что совладеть с ней не сможет. Лошаденка завертела хвостом и пошла боком забирать все дальше и дальше в сторону.

Чем ближе к селу, тем больше обгоняешь народу. Какие у всех довольные лица, а между тем как мало надобно, чтоб доставить этим людям это удовольствие. Придет иной верст за десять пешком к приходу, помолится, а тут и отправится в деревню, где празднуют. Хорошо еще, у кого есть родные: тот прямо идет гоститься, то есть выпить, пообедать и поболтать; а у кого нет, так взойдет в избу несмело и проговорит каким-то странным голосом: «С праздником, хозяева честные, поздравляем». Хозяин, который уж действительно ничего не жалеет, но которого в то же время одолевают гости, проговорив: «Сейчас, голубчик, сейчас», поспешит ему дать рюмку водки, пирога

и пива; гость это все выпьет, съест и отправится в другую избу, и таким образом к вечеру наберется порядочно.

К величайшему неудовольствию Давыда, я не допустил его произвести эффект, проезжая по улице села, а велел ехать задом и пошел сам пешком. У церковных ворот пересек мне дорогу маленький семинарист, в длинном нанковом зеленом сюртуке.

– Здравствуйте, папенька крестный, – проговорил он.

Когда я его крестил, – совершенно не помню.

– Здравствуй, милый! Ты чей?

– Отца дьякона, папенька крестный, – отвечал он.

– А! Отца дьякона! Это хорошо... Что, обедня идет или нет?

– Начинается, папенька крестный, – отвечает он и, как человек привычный, пошел впереди, расталкивая для меня народ.

В церкви, у левого клироса, стоят две барышни, небогатые прихожанки. Я убежден, что до моего появления они молились усердно, но как увидели меня, так и начали модни-

чать. Мне всегда несколько грустно видеть их у прихода. Зачем они не ходят в просто причесанных волосах, а как-нибудь всегда их взобьют? Зачем они носят эти собственного рукоделья шляпы из полинялой шелковой материи с полинялыми лентами? Зачем так безбожно крахмалят свои кисейные платья и, наконец, зачем, по преимуществу старшая, произносят все в нос? Я подозреваю, что, говоря таким образом, она воображает, что говорит по-французски.

После обедни я хотел было пройтись по ярмарке, но меня остановила проживающая в селе немолодая тоже девица из духовного звания, по имени Арина Семеновна, девица большая краснобайка и очень неглупая.

– Позвольте, батюшка Алексей Феофилактыч, – начала она, – просить вас осчастливить меня вашим посещением. Я еще пользовалась милостями вашего папеньки, маменьки; по доброте своей и великодушию, они никогда не брезговали посещать мою сиротскую хижину. Слух тоже, батюшка, и про вас идет, что вы в папеньку – негордые.

– С большим удовольствием, сударыня; но

меня звал отец Николай; чтоб мне туда не опоздать, – сказал я.

– Отец Николай, батюшка, долго еще изволят пробыть в церкви, так как теперича простой народ молебны будет служить, а вы по крайности тем временем чайку или кофейку у меня откушаете. Богато-небогато, сударь, живу, а все на прием таких дорогих гостей имею.

– Очень хорошо, сударыня, извольте.

– Не знаю, как и благодарить за ваши милости, – сказала мне с поклоном Арина Семеновна и отнеслась к идущим за мной двум барышням: – Нимфодора Михайловна, Минодора Михайловна, позвольте и вас просить к себе на чашку чаю: я у вас частая гостья, гощу-гощу и стыда не знаю, а вас в своем доме давно не имела счастья видеть.

– О нет, вы этого не можете сказать: мы у вас тоже частые гости! – произнесла совершенно в нос старшая сестра, Нимфодора.

– Кабы еще чаще, еще бы я была больше осчастливлена, – сказала Арина Семеновна.

Все мы таким образом пошли к ней. Я видел, что барышням очень хочется заговорить

со мной, но я, признаюсь, побаивался этого.

– Как здоровье вашей супруги? – сказала наконец младшая, Минодора, говорившая меньше в нос, но зато, судя по выражению лица, должно быть, более желчная, чем старшая.

Впрочем, обе они, как уже немолодые девицы, были немного злы и на меня, как я слышал, питали большую претензию за то, что я не знакомился с ними. Предчувствуя, что вопрос этот был сделан с ядовитой целью, я поспешил отвечать:

– Слава богу, здорова, и мы с ней все собираемся к вам.

Что-то вроде улыбки пробежало по губам обеих барышень.

– И скоро исполните ваше обещание? – сказала старшая, Нимфодора, еще более в нос.

– На той неделе непременно, непременно, – опять поспешил я отвечать.

– Очень приятно, конечно, будет нам видеть вас у себя, хоть, может быть, вам будет у нас и скучно, – ядовито заметила младшая, Минодора; но потом, как бы желая смягчить это замечание, прибавила: – Мы хоть не име-



ли еще удовольствия видеть вашу супругу, но уж очень много слышали о них лестного.

– А я, матушка, счастливее вас: имела честь видеть супругу Алексея Феофилактыча и вот при них скажу, не показалась она мне: старая, беззубая, нехорошая...

– О нет, вы шутите! – произнесла старшая, Нимфодора, в нос.

Арина Семеновна лукаво засмеялась.

– Неужели, матушка, вправду говорю? – отвечала она. – Красавица, писаной красоты дама. Вот вы, барышни, больно у нас хорошие, а она, пожалуй, лучше вас.

В такого рода разговорах мы шли, и я заметил, что если младшая, Минодора, язвила смертных больше словом, то старшая уничтожала их презрительным и гордым видом, особенно кланявшимся нам мужиков и баб.

Когда мы пришли к Арине Семеновне, она, конечно, захлопотала о приготовлении угощения нам. У нее, впрочем, были уж в гостях две попадьи и дьяконица, которые нам церемонно поклонились. Барышни, чтоб не уронить своего достоинства, сели на диван, а я, признаться, чтоб избежать разговора с ними,

нарочно поместился у окна: но вдруг, к ужасу моему, старшая, Нимфодора, встала и села около меня.

– Что вы теперь сочиняете? – сказала она с улыбкою и слегка наклоняя голову.

Вопрос этот обыкновенно и при других обстоятельствах и от других людей всегда меня конфузит.

– Нет, я теперь ничего не сочиняю, – отвечал я, потупившись.

– В деревенском уединении, я думаю, так приятно сочинять, – продолжала пытаться меня Нимфодора, устремив прямо мне в лицо пристальный взгляд.

– Да; но я занимаюсь больше хозяйством, – отвечал я, чтоб что-нибудь сказать ей.

– О, так вы и хозяин хороший! Как приятно это слышать! – воскликнула Нимфодора.

Почему это ей приятно слышать – не понимаю.

– Я недавно читала, не помню чье, сочиненье, «Вечный Жид»[5] называется: как прелестно и бесподобно написано! – продолжала моя мучительница.

«Что ж это такое?» – думал я, не зная, что с

собой делать и куда глядеть.

– Нынче, так это грустно, – снова продолжала Нимфодора, не спуская с меня пристального взгляда, – мы не имеем где книг достать. Когда здесь жил, в деревне, Рафаил Михайлыч[6], с которым мы были очень хорошо знакомы и почти каждый день видались и всегда у них брали книги. Тут я у них читала и ваше сочинение, «Тюфяк» называется – как смешно написано.

Я начинал приходить в совершенное ожесточение. Чтоб спасти себя хоть как-нибудь от дальнейших разговоров с Нимфодорой, я высунул голову в окно и стал будто бы с большим вниманием глядеть на толпящийся тут и там народ. Из толпы, окружающей кабак, вышел Пузич с Козыревым; оба они успели, видно, порядочно выпить. Я еще прежде слышал, что Пузич подрядился у Фомкиной госпожи строить новый флигель, и у них, вероятно, были поэтому слитки[7]. Пузич, увидев меня, остановился и поклонился, а Козырев, нахмуренный и мрачный, немного пошатываясь и засунув руки в карманы плисовых шаровар, прошел было сначала мимо, но по-

том тоже остановился и, продолжая смотреть на все исподлобья, стал поджидать товарища.

– Ваше высокоблагородие, позвольте с вами компанию иметь, – проговорил Пузич пьяным голосом.

– Нет, братец, в другое уж время, – сказал я, показывая ему рукой, чтоб он отправлялся, куда шел.

– Барин!.. Писемский!.. Господин! Позвольте с вами компанию иметь! – прокричал Пузич на всю уж улицу, так что Арина Семеновна, как хозяйка, обеспокоилась этим и подошла к окну.

– Нехорошо, нехорошо, Пузич, – сказала она, – мужик вы хороший, богатый, а беспокоите господ. Ступайте, ступайте!

– Арина Семеновна, позвольте компанию иметь! – воскликнул опять Пузич. – Ежели теперича барину, господину Писемскому, деньги теперича нужны – сейчас! Позови только Пузича: «Пузич, дай мне, братец, денег, тысячу целковых» – значит, сейчас, ваше высокопривосходительство. Что мне деньги! Денег у меня много. Мне барин, господин Писемский, его привосходительство, значит, отдал тепе-

рича все деньги сполна, и я благодарю, должен благодарить. Теперича господин Писемский мне скажет: «Подай мне, Пузич, деньги назад!» – «Изволь, бери...» Позвольте, ваше привосходительство, компанию мне с вами иметь?..

В это время вышел из-за угла Матюшка, что-то с несвойственным ему печальным лицом, и робко подошел к Пузичу.

– Дядюшка, дай два рублика-та, – пробормотал он.

Физиономия Пузича в минуту изменилась: из глупо подлой она сделалась строгой.

– Какие твои два рубли? – сказал он, обернувшись к Матюшке лицом и уставив руки в бока.

– Мамонька наказывала серп купить, жать нечем, – проговорил тот.

– Какие твои деньги у меня? За какие услуги? Говори! Ежели теперича ты пришел у меня денег просить, как ты смеешь передо мной и господином в шапке стоять? Тебе было сказано, на носу зарублено, чтоб ты не смел перед господами в шапке стоять, – проговорил Пузич и сшиб с Матюшки шапку.

Тот только посмотрел на него.

– Что дерешься? И на тебе шапка не притаченная, – проговорил он, поднимая шапку.

– Молчать! Поговори еще у меня! – продолжал Пузич. – Когда, значит, подрядчик с тобой разговаривает, какой разговор ты можешь иметь!

– Пузич, идемте, – проговорил октавой Козырев, которому уж, видно, наскучило ждать.

– Идем, идем, Флегонт Матвейч, – отвечал Пузич, – дураков, значит, надо учить, ваше привосходительство, коли они неумны, – отнесся он ко мне и, очень довольный, что удалось ему перед всем народом покуражиться над Матюшкой, пошел с Козыревым опять, кажется, в кабак.

Бедняга Матюшка издали последовал за ним.

– Что? Тебя не рассчитывает подрядчик? – спросил я его.

– То-то-тка, все вот жилит да дерется еще, – отвечал он, уходя.

Не прошло четверти часа после этой сцены, мы сидели еще с барышнями у Арины Семеновны в ожидании отца Николая, который

присылал из церкви с покорнейшею просьбою подождать его, приказывая, что, как он освободится, так сам зайдет просить достопочтенных гостей. Чтоб отклонить для Нимфодора всякую возможность вступить со мною в разговор о литературе, я продолжал упорно смотреть в окно. «Однако отец Николай что-то долго нейдет, думал я, неужели он все еще молебны служит?» Около церкви никого уж не видать, а между тем в противоположной стороне, к кабаку, масса народа делается все гуще и гуще. Наконец, я увидел ясно, что туда идут и бегут.

– Кажется, пожар! – сказал я, вставая.

– Ах, боже мой! – воскликнула Нимфодора и даже Минодора с довольно, по-видимому, твердыми нервами.

В это время вошел отец Николай, бледный и запыхавшийся.

– Батюшка! Что такое случилось? Откуда вы? – спросил я.

– Что, сударь! Случилось несчастье: убийство в кабаке! Сейчас ходил напутствовать дарами, да уж поздно – злодеи этакие!

– Скажите! – произнесли опять Нимфодора

и Минодора в один голос.

– Кто такие? Кто кого убил? – спросил я.

– Плотники... стали пьяные в кабаке с хозяином разделяться... слово за слово, да и драка... один молодец и уходил подрядчика насмерть, – отвечал отец Николай, садясь и утирая катившийся с лица его крупными каплями пот.

– Не Пузича ли это? – сказал я.

– Его, его, Пузича, коли знаете. Плutowатый был мужичонко.

– Кто ж его убил? Он сейчас здесь был.

– Да я уж и не знаю. Петром, кажется, зовут парня, высокий этакой, худой.

– Батюшка! Нельзя ли еще как-нибудь помочь убитому? – воскликнул я.

– Вряд ли! – отвечал отец Николай, сомнительно покачивая головой.

Но я, схватив попавшийся мне на глаза перочинный ножик, чтоб пустить Пузичу кровь, пошел как мог проворно к кабаку. Место происшествия, как водится, окружала густая толпа; я едва мог пробраться к небольшой площадке перед кабаком, на которой, по середине, лежал вверх лицом убитый Пузич, с



почерневшим, как утопленник, лицом, с следами пены и крови на губах. У поддевки его правый рукав был оторван, рубаха вся изорвана в клочки; правая рука иссечена циркульником, но кровь уж не пошла. В стороне стоял весь избитый Матюшка и плакал, утирая слезы кулаком связанных рук. Сидевшему на лавочке Петру, тоже с обезображенным лицом и в изорванном кафтане, сотский вязал ноги.

– Злодей, что ты наделал? – сказал я ему.

Он взмахнул на меня глазами, потом посмотрел на церковь.

– Давно уж, видно, мне дорога туда сказала! – проговорил он и прибавил сотскому: – Что больно крепко вяжешь? Не убегу.

В толпе между тем несколько баб ревело, или, лучше сказать, голосило:

– Батюшка, кормилец мой! – завывала одна.

– Что ты надсажаешься? Али родня? – говорил ей мужской голос.

– Ну, батюшка, как не надсажаться! Все человеческая душа, словно пробка выскочила! – отвечала женщина.

– Пускай поревет; у баб слезы не купленные, – заметил другой мужской голос.

– О, о, о, ой! – стонала еще другая баба. – Куда теперь его головушка поспела?

– Удивительная вещь, удивительная вещь! – толковал клинобородый мужик с умным лицом и, должно быть, из торговцев.

– Как у них это случилось? – отнесся я к нему.

– Пьяные, сударь, – отвечал он, – Пузич с утра с Фомкой пьет; пьяные-с! Поначалу они принялись вдвоем в кабаке этого толсторожего пария бить; не знаю, про што его и связали: он ничем не причинен!.. Цаловальник видит, что дело плохо: бьют человека не на живот, а на смерть, караул закричал. Мы в кабак-то и вбежали, и Петруха-то вошел. «За что, говорит, парня бьете?» – и стал отымать, вырвал у них его, да и на улицу: они за ним, да и на него. Пузич за волосы его сгреб, а Фомка под ногу подшибает, и Петруха – на моих глазах это было – раза два их отпихивал, так Фомка и поотстал, а Пузич все лезет: сила-то не берет, так кусаться стал, впился в плечо зубами, да и замер. Мы было с сотским начали разни-

мать их – где тут! За ноги хотели было их растащить, так Пузич как съездил меня сапогом по голове, так шабаш – на-ли шабалка затрещала. Сотский стал уж кричать: «Воды! Водой разливайте!» Я было побежал зачерпнуть – прихожу: все уж порешено. Петруха, говорят, оборанивался, оборанивался, и как ухватит его запоперек, на аршин приподнял, да и хрясь о землю – только проохнул. А Козырев испугался, вскочил на своего живодерного коня и лупмя почал его лупить плетью, чтоб ускакать. Ребята тут смеются ему: «Возьми, говорят, кол; ишь плетью-то не пробирает, бока больно толсты!» Такой дурак: угнал – словно не найдут.

Я вышел из толпы; мне попался старик Сергеич, проворно шедший туда своей заплетавшейся походкой.

– Дедушка! Слышал ли, что ваш Петр начудил? – сказал я ему.

– Ой, государь милостивый! Слышал, слышал! За то его, батюшка, бог наказал, что родителя мало почитал. Тогда бы стерпел – теперь бы слюбилось, – отвечал старик и пошел.

Потом меня нагнали барышни, перебиравшиеся от Арины Семеновны к отцу Николаю. По просьбе их я рассказал им все подробности.

– Гм!.. – глубокомысленно произнесла младшая, Минодора.

– Что за народ эти мужики! – сказала в нос старшая, Нимфодора.

# Примечания

Рассказ впервые опубликован в журнале «Отечественные записки» (1855, № 9), с подзаголовком «Деревенские записки». Закончен он был 15 июля 1855 года.

Отзываясь с похвалой о народных рассказах Писемского, Некрасов особо отметил язык «Плотничьей артели»: «...народный язык в этом рассказе удивительно верен».[8]

В этом произведении автор сумел правдиво очертить типичные крестьянские характеры (плотник Петр, старик Сергеич) и дать колоритный образ кулака-миroeда Пузича. Горький вспоминал: «Изо всех книжных мужиков мне наиболее понравился Петр «Плотничьей артели»; захотелось прочитать этот рассказ моим друзьям, и я принес книгу на ярмарку»[9]. Прослушав «Плотничью артель», молодой рабочий Фома после долгого молчания сказал: «Петр правильно убил подрядчика-то».

Подготавливая текст «Плотничьей артели» для издания Стелловского, Писемский, добиваясь художественной законченности, заново

отредактировал отдельные выражения. В «Отечественных записках» шутка Петра о старике Сергеиче звучала так: «...Ни одного зуба во рту, а по закоулкам ходит». В издании Стелловского вместо последних слов более резкое выражение: «...за девками бегают». В журнальном тексте лошади вылетели из сарая, «как обозленные черти», в издании Стелловского – «как бешеные».

Автор произвел также некоторые сокращения, одно из которых приводим.

В последней главе после слов «Я начинал приходить в совершенное ожесточение» (стр. 336) было: «Тебе смешно, – думал я, – что написано в «Тюфяке», а разве ты не смешнее в эти минуты всего, что когда-либо я писал? Отчего же ты этого смешного не чувствуешь в себе и не молчишь, как сердито молчит сестра твоя?» Вся эта тирада в издании Стелловского отсутствует.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: «Сочинения А.Ф.Писемского», издание Ф.Стелловского, СПб, 1861 г., с исправлениями по предшествующим изданиям, частично – по посмертным «Полным собраниям

сочинений» и рукописям.

# Примечания



«Барыня» – популярная песня, печатавшаяся в песенниках с 1799 года. Музыка композитора И.А.Козловского (1757—1831).

[^^^]

## 2

Павел – П.А.Писемский (1850—1910), старший сын писателя.

[^^^]

Николай – Н.А.Писемский (1852—1874), младший сын писателя.

[^^^]

# 4

Сенновская божья мать – икона богородицы в церкви на Сенной площади Петербурга.

[^^^]

## 5

«Вечный жид» – роман французского писателя Эжена Сю, в переводе на русский язык вышедший в 1844—1845 годах.

[^^^]

Рафаил Михайлыч – Зотов (1795—1871), писатель и драматург, театральный деятель, автор широко известных в свое время романов «Леонид или черты из жизни Наполеона I» и «Таинственный монах».

[^^^]

# 7

Слитки (литки) – пирушка, завершающая какую-либо сделку.

[^^^]

Н.А.Некрасов. Полное собрание сочинений, т. IX, М., 1950, стр. 314.

[^^^]



М.Горький. Собрание сочинений, т. XIII, М., 1951. стр. 469.

[^^^]